

Медленный

Фокстрот

В сельском

клубе

Александр Лысков

Александр Лысков

**Медленный фокстрот
в сельском клубе**

Издательский дом «Сказочная дорога»

2019

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Лысков А. П.

Медленный фокстрот в сельском клубе / А. П. Лысков —
Издательский дом «Сказочная дорога», 2019

ISBN 978-5-4329-0111-8

Главный герой романа, столичный профессор биохимии Вячеслав Синцов – герой возвращения собственности предков, отнятой в революцию. Его семья (трое мужчин и три женщины) едет в древнее севернорусское село для обживания полученного в наследство уникального особняка. Люди научно-артистической элиты вступают в тесные отношения с людьми провинциальными, что приводит к решительным изменениям в судьбах новосёлов. Трагическая развязка происходит под действием двух сил – неизбежности любви и невыносимости её отсутствия.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-4329-0111-8

© Лысков А. П., 2019
© Издательский дом «Сказочная
дорога», 2019

Содержание

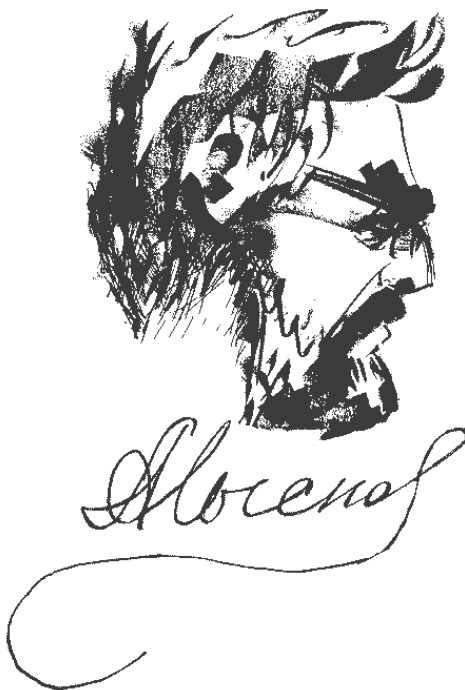
Сергей Казначеев	6
Intro	8
Часть I	9
1	10
2	12
3	13
4	15
5	17
6	19
7	21
8	23
9	25
Retro	29
Часть II	31
1	32
2	36
3	39
4	43
5	45
Часть III	48
Любимовка – Кашейково	49
1	49
2	51
3	52
4	54
5	56
Которосль – Красный ткач	59
1	59
2	62
3	63
4	65
5	66
Письмо Бориса	69
Ярославль	71
1	71
2	73
Пречистое – Грязовец	75
1	75
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Александр Павлович Лысков
Медленный фокстрот в сельском клубе
Семейный роман
2-е издание

© Лысков А. П., 2019

© Лысков А. П., иллюстрации, 2019

© Издательский дом «Сказочная дорога», оформление, 2019



Александр ЛЫСКОВ родился в 1947 году.

Школу окончил в Архангельске. Там же – Архангельский лесотехнический институт и, несколько лет спустя, Высшие литературные курсы в Москве.

Работал инженером в Новодвинске, редактором телевидения в Архангельске, бурильщиком в Нарьян-Маре, в редакциях многих газет Севера и Москвы.

Автор нескольких книг: повести «Целковый на счастье», романов «Пределы», «Красный закат в конце июня» («Лучшая книга 2014 года о Русском Севере»), «Медленный фокстрот в сельском клубе», книги повестей и рассказов «Старое вино „Легенды Архары“», сборников рассказов о 1990-х годах «Натка-демократка», «Свобода, говоришь?», «История ложки», «Бель-флёр», публицистики «Неоткрытые острова».

Автор более 500 эссе, очерков и рассказов в различных периодических изданиях.

Лауреат литературных премий им. В. Овечкина, журналов «Молодая гвардия», «Юность».

Живёт в Москве.

Сергей Казначеев

Проза единения

На рубеже шестидесятых-семидесятых годов в советской прозе произошло существенное размежевание: она разделилась на два рукава – деревенская и городская. В советской – исходя не из идеологии, а потому, что аналогичные процессы происходили и в литературах союзных республик: в Прибалтике, Средней Азии, Закавказье.

Русские писатели определились довольно строго: с одной стороны, – Астафьев, Белов, Распутин; с другой – Бондарев, Трифонов, Маканин. Разумеется, у каждого из них можно обнаружить материал и тематику другого типа, но в целом разделение было довольно принципиальным.

Умением чувствовать себя одинаково комфортно в обеих средах похвалиться могли единицы: Шукшин, Солоухин...

Проза Александра Лыскова представляет собой пример успешного синтеза двух разнородных начал: смычка города с деревней в его романе «Медленный фокстрот в сельском клубе» осуществлена органично, естественно.

Экспозиция романа довольно проста. В Москве живёт семья: профессор биохимии Вячеслав Ильич Синцов, его жена Гела Карловна, продвинутая в области эзотерики, их дочь Варя, журналистка антилиберального толка, что не мешает ей носить вызывающие дреды, и сын Антон, начинающий панк-музыкант. Семейка, что и говорить, специфическая.

Взять того же профессора, которому ничего не стоит спуститься во двор и с банкой джин-тоника сесть там за стол с деклассированными личностями.

Но в целом живут они дружно и даже статично.

Динамика сюжета начинается, когда в их жизнь врывается, как новость-брейк, известие о том, что Европейский суд по правам человека принял решение о реституции семейного дома Синцовых, который находится в северном селе Окатово и в 1931 году был отобран у семьи, поскольку она была репрессирована и сослана в Сибирь. Профессор подавал жалобу в начале девяностых – спустя двадцать лет решение было принято в его пользу. Нужно было ехать и вступать в наследование.

И вот семейство Синцовых, с примкнувшими к нему, втискивается в старенький минивэн по прозвищу Малевич (ввиду квадратной формы и чёрного цвета) и отправляется в архангельские палестины.

Нет смысла пересказывать здесь перипетии острого, замысловатого сюжета. Там много интересного для читателя. И дорожные приключения, и общение с земляками, как тёплое, так и не очень, и антураж северной природы, и воспоминания, и танцы, и песни, и трапезы, и кони, и измены, и переплетение родственных связей, как в сериалах, и insult, и, конечно, любовь: куда же в романе без неё! Но за бурной событийной стороной есть, несомненно, и глубокий метафизический подтекст, что придаёт повествованию дополнительный объём и смысловое наполнение.

Завершается всё на жизнеутверждающей ноте – у профессора родится внучка.

Роман наполнен, можно сказать, переполнен событиями и потому, разумеется, читабелен. Остаётся удивляться тому скромному тиражу, который был определён издателями. Но, возможно, ожидается допечатка или, так сказать, второе издание?

Сергей Казначеев Литературная газета, 20 апреля 2017 года

О.

Intro

– ... А вам-то, Вячеслав Ильич, как не стыдно! Профессор – и туда же, с алкашами этими тут в бомжатнике!

Дворничиха в форменной синей куртке и в трико, втугую напяленном на широченные бёдра, с метлой в одной руке и совком в другой, подкралась незаметно и напала врасплох, как отчаянный гладиатор, одна против пяти – ярость её была ещё не предельная, так как она не обнаружила среди пирующих своего мужа-мусорщика.

– С этими гопниками за одним столом сидите, из грязных стаканов пьёте. – Смотреть на вас без слёз невозможно, Вячеслав Ильич!

– Ну, что вы, Зина, я вполне уважаю этих господ.

– Тьфу!

– В ваших словах, Зина, безусловно, содержится доля правды, но!..

– Шли бы вы домой, Вячеслав Ильич!..

Как-то так получилось у Вячеслава Ильича Синцова этой весной, что заманила его вдруг уличная жизнь, «потянуло к плебсу», к этому клубу отверженных – «за гаражи», в дымы дешёвых сигарет, в общество самых свободных людей на земле, вольного племени местных холостяков, инвалидов и пьяниц.

«Снизошёл до высот, – думал Вячеслав Ильич об этой новизне в своей жизни под крики дворничихи, – что называется, опростился...»

Дворничиха прибавляла оборотов. Взмахи её орудий становились всё более опасными.

– Ну, ладно, мужики, – поднимаясь со скамьи, покаянно молвил Вячеслав Ильич, – не хочу быть яблоком раздора. Бывайте.

– Ильич, респект и уважуха!

– Химию – в жизнь, Ильич!

– Профессор, не прощаемся!..

Удаляясь, он вскинул над головой победно сжатый кулак, подмигнул молоденьким продавщицам, выскочившим покурить из подвальчика винного отдела, а заодно получить удовольствие от выступления дворничихи и, засунув руки в карманы короткого чёрного «спенсера», прямо по лужам пошагал к своему подъезду...

Часть I

Москва фабричная

*Зарёю освещённая
Приветлива, проста
Окраина зелёная,
Фабричная Москва.
Всё улочки да горочки,
И будто снится мне —
Опять поплыли
лодочки
По Яузе-реке.*



1

Этой весной Вячеслав Ильич по утрам вдруг перестал прогуливаться за газетой, хотя в последнее время всегда просыпался с тяжёлой головой, и прочтение спасительной «Вашей»¹ на скамейке в парке совмещал с поглощением банки джин-тоника.

Сидел в пальто с поднятым воротником, в спортивной шапочке, в потёртых джинсах – зато в великолепных жёлтых «катерпиллерах» с рубчатой подошвой.

Газету читать начинал Вячеслав Ильич всегда с колонки Вари Броневой.

Подобие некоей влюблённости испытывал он к этой авторше с изощрённым ядовитым женским умом, поражался всегдашней силе её высказываний.

Вот уже более десяти лет беспрерывно по средам с упорством маньяка публиковала она свои тексты, и энергии в них не убывало ни на градус.

По мере чтения волны эмоций прокатывались по душе Вячеслава Ильича.

Мысли в тексте были заглублены порой до непроницаемости, всё равно что в музыке, и для каких-то уточнений, как в сноску, Вячеслав Ильич то и дело поглядывал на портретик-персонификацию этой Вари Броневой в конце колонки, на её волосы, словно взрывом интеллекта размётанные вокруг головы пучками косичек-дредов, – сразу всё становилось понятным, и Вячеслав Ильич салютовал несравненной Варе треском и пеной взламываемой зелёной банки «Greenalls».

Пузырящийся тоник с запахом хинина обострял зрение, словно к глазам Вячеслава Ильича подносили прибор особой видимости.

Окружающий мир открывался во всех подробностях.

Оказывалось, всё белое, зимнее, снежное уже отлетело с земли. По берегам пруда белели только стволы берёз – мертвенной, покойницкой белизной, местами, впрочем, уже розовевшей под апрельским солнцем.

Лёд в пруду вспучился, поднятый ручьями с холмов. И теперь, как поршнем, эта волглая многотонная плита будет выдавливать воду в сток Яузы, – представлялось Вячеславу Ильичу, технарю по складу ума, отдавшему последние двадцать лет «Х-прибору», когда-то секретному п/я, затем выкупленному концерном «Вудсток чемикал».

Этот вечно дымящий «икс-вулкан» громоздился сейчас перед Вячеславом Ильичом за древними дубами и липами бывшей когда-то здесь дворянской усадьбы, изводил его несправедливо подлым выживанием из лаборатории, откровенной кражей его патента «БЦ-гель» (плёнка для пересадки кожи и мембраны для космической акустики), выплатой унизительно мизерной премии (хотя, по его мнению, тянуло на Нобелевку и дирекция заработала миллионы).

Вдалеке за сизой ветвистой чередой деревьев пульсировал завод, а по опушке парка бесконечная мрачная колонна служителей культа Её величества Химиндустрии стучала каблуками, кашляла и плевалась, осенённая духом Менделеева, искрилась ионами и электронами, испускала запахи подмышек, винного перегара, дешёвых духов, домашних борщей в банках, табачных дымов, – достигавших носа Вячеслава Ильича и действовавших на него раздражающе.

Вячеслав Ильич сжимал концы поднятого воротника пальто и втягивал голову в плечи.

От топота толпы будто бы даже вибрировал талый лёд на пруду, гудел, словно кожа на барабане.

Масса работников возрастала. Вячеславу Ильичу на скамейке становилось всё более неловко от враждебного величия этой человеческой сплотки, но терпеть оставалось немного:

¹ Название городской газеты. – *Прим. ред.*

время неумолимо подвигалось к девяти, после чего как отрежет, наступит тишина, услышится в этом старинном московском парке журчание ручьёв, свист синиц, пение с клироса в церкви.

Толпа ускорялась, люди всё чаще поглядывали на часы, поток редел, и опять, как во все предыдущие дни, в какую-то из этих минут Вячеслав Ильич замечал, как где-то на выходе у метро, в самом хвосте колонны, вдруг зажигался золотистый светлячок, который, скатившись к пруду, оказывался молодой женщиной в кислотно-красной куртке.

По обыкновению мчалась она у самой кромки берега, в обгон мрачного шествия, и напминала большую божью коровку на фоне жухлости и суконности безликих наёмников, – солнечно-рыжая и на таких высоких каблуках, что, можно подумать, летела безопорно...

«Это моя душа! – говорил себе Вячеслав Ильич, торопливо откладывая газету и усаживаясь на скамейке строго и прямо. – И никакой дух ей не страшен!»

Во власти беспощадной неизъяснимости духа, считал Вячеслав Ильич, прошла вся его жизнь... Духа времени... Духа последних решений... Духа коллективизма... Духа противоречия... Творческого духа... Духа индивидуализма... Пока нынешней весной он не освободился – уволился...

«Да! Это она! – думал Вячеслав Ильич, восхищённым взглядом провожая пролётницу. – Теперь она пронесится передо мной свободная, не зависимая даже от моего брэнного тела... Выпорхнула на волю, оскорблённая первым глотком алкоголя из этой зелёной банки... Вернётся ночью, часа в три, как всегда, – разбудит, устраиваясь... Потребуется водицы, рассольчику... Ну, а пока проживём и на элементарных психофизических реакциях».

Сопроводив видение печальной улыбкой, Вячеслав Ильич одним махом допивал тоник, поднимался со скамейки и шагал к дому – высокий, величественный и хрупкий.

Дома заваривал кофе и уединялся в своём кабинете – лаборатории.

Всё-таки коллеги оказались достаточно отзывчивы, чтобы не потребовать назад заводское оборудование: барокамеру из нержавеющей стали величиной с бочку, стеклянные питомники бактерий с противнями как в духовке, три биоаквариума и шкаф с химикатами.

Он надевал белый халат, вытаскивал противни, брал соскоб и склонялся над микроскопом.

Подступало время решать новоиспечённому пенсионеру: открыв свою лавочку, сосредоточиться на плёнках для косметических кабинетов (будут неплохие деньги) или заняться производством трубок для вшивания в кровеносные сосуды (чисто моральное удовлетворение).

Он взбалтывал в чашке серо-зелёную массу, отсасывал пипеткой с разных глубин и раскладывал по стёклышкам.

2

Так было по утрам до сих пор. И вот однажды жена взялась поднимать на антресоли зимнюю обувь, а в носки нечего набить, в доме ни листочка печатного. Пришлось изрезать на тряпки старую простыню. За этим занятием она думала, почему он перестал покупать свою любимую «Вашу», начал часто выпивать и как бы лучше поговорить с ним о его новом положении научного отставника, не возбуждая его горячности.

Решила зайти издалека, в свою очередь в себе возбуждая нежность, и так как теперь он за новостями с утра погружался в компьютер, она тихонько подошла к нему сзади и подала чашечку зелёного чая с мёдом в розетке.

Чашечка, его любимая, была толстостенная, расписанная пышными розами, мёд – вересковый, цветом «как вода в Уме» – реке на его прародине, он это любил.

Теперь она редко вдохновлялась таким подношением, хотя в конце девяностых, когда «сидела дома» с младшим сыном, не один раз за день тешила его чайком с какой-нибудь сухофруктинкой.

Кое-какие ресурсы милости женской ещё до сих пор теплились в ней и требовали проявления, тем более что заодно представлялась возможность узнать, почему в мусорной корзине нет ни одной газеты.

– Как-то вдруг исчезли из дома газеты, Че, – сказала она.

– Наша Бронева оказалась предательницей! – выпалил он и плеснул чаем на колени. Вскочил, оттягивая брючины, морщась от боли. – Она одобрила вторжение! Всё скалькулировала и пришла, видите ли, к выводу, что это экономически выгодно для страны. И напечатала об этом в своей колонке! Я знать её не хочу!

– Да, да. Варечка звонила и спрашивала, почему у папы телефон отключён.

– «У папы!» Гела! Я теперь даже не могу сказать, дочка ли она мне. Она у меня в чёрном списке.

– Че! Милый! Успокойся. Это всё твоё винцо. Ты стал раздражительным.

– У меня алкоголь. У тебя – виртуальная биржа! Тебя теперь от монитора не оторвать. Шить совсем перестала, а ты ведь прирождённый дизайнер! Всех клиенток растеряла, маньячка!

– Ты преувеличиваешь, Че. И на биржу я не подседа. И клиентки ходят. Тебя политика волнует. Меня – денежки. Поддержка семейного благосостояния.

– Глупейшая эта виртуальная биржа. Дурят вас там.

– Не больше, чем твоё винцо.

Он скинул брюки.

Она унесла их сушить.

Он, в халате и трусах, сел за микроскоп.

3



Он тоже называл её укороченно Ге, но лишь в минуты романтического подъёма, лирической стихии, накрывавшей его всегда неожиданно для неё. Клички имели своё начало в студенческой молодости, а потом они ещё удлинители их, назвав дочь Варей. Получилось Че-Ге-Варя, как дань нонконформизму их молодых лет. Портрет кубинского бунтаря в чёрном берете давно уже не висел в квартире вместе с масками африканских истуканов, грузинскими чеканками и репродукциями картин Сикейроса, снесённых ещё первой волной евроремота (чёрно-белая гамма, алюминий, холодная подсветка, пластиковые окна), потом была вторая волна (лакированный кирпич, натяжные потолки, барная стойка, утеплённые лоджии). Хотя, надо сказать, все эти усовершенствования в течение последних двадцати лет происходили – в их небольшой четырёхкомнатной квартире с холлом – весьма фрагментарно.

Причём лаборатория Вячеслава Ильича так и оставалась с голыми больничными стенами и огромным вытяжным колпаком, как в ресторанных кухнях; в швейной мастерской Гелы Карловны (психиатра, верившего в медицину ровно настолько, чтобы продержаться до пенсии) также стояли два манекена – мужской и женский, а в студии звукозаписи младшего сына – Антона (Тохи), сплошь обитой матами, будто камера для буйных, никакие ремонты вообще не затевались.

Оттуда, из-за толстых, как в бомбоубежище, дверей «детской» приглушённо прорывались в холл нечеловеческие вопли, гитарные пассажи и барабанный треск.

Музыка слышна была даже и в комнате Гелы Карловны, однако здесь ей находилось противоядие в телепередаче 45-го канала «Магический кристалл».

Со счёткой в руках Гела Карловна уселась в своей комнате у окна с видом на фабричные кварталы и вся обратилась в TV-слух.

Она была невысокой, крепенькой женщиной, не давшей себе развестись, помимо всего прочего постоянно занятой укрощением «монстрика внутри» – «олдушка» в третьем возрасте – с тугой тонкой кожей на лице, не требующей ни масок, ни подтяжек, как часто и происходит

с женщинами прибалтийской породы. Однажды литовцы в турпоездке с первого взгляда признали её за свою по строгости осанки, холодку в серых глазах и серебристым волосам.

В первом своём возрасте, first age, она была природной брюнеткой, потом осветляла до дымчатого. Набирая года, понемногу подбеливала пряди – очагово. А выйдя на пенсию, вовсе решила на фантазийно-платиновый. И сейчас она с этой яркой белизной причёски в соединении с голубой вязью платья напоминала тучку в чистом небе.

Как всегда, в минуты такой приятной отрешённости и душа Гелы Карловны пребывала там, в поэтических высотах меж этих тучек.

Некие таинственные духовные состояния, поднебесные, звёздно-космические настроения испытывала она под действием бормотаний ведущей телепередачи, понимаемых ею подсознательно, непересказуемо.

Всю жизнь отдавшую точным химфизбионаукам, Гелу Карловну теперь неудержимо тянуло к неизъяснимости трудов Елены Рерих, Саду Мории, посланиям Шамбалы, карме Судьбы, нумерологии. Сами предметы были туманны. Способы изложения – диковаты на русский слух.

Но она в этих писаниях улавливала шифровки чего-то прекрасного, очаровывалась языковым гулом, как жестами глухонемых, доступными только им, посвящённым, защищалась таким образом от чёрно-белого мира и даже от мужа и детей, находя в этом желанную уединённость, норку – как она определяла для себя.

Нельзя сказать, что она сейчас была углублена в какой-то один преподносимый телепередачей предмет, то есть размышляла. Нет, мысли её, словно чётки между пальцев, проскальзывали в голове – разновеликие, разноцветные.

Мгновение назад она думала, что поступила смело и даже дерзко, без спроса команданте выкинув в мусоропровод две пары его старых туфель, и хвалила себя за решительность, а в следующую минуту, отложив шитьё, уже набрасывала на листке бумаги фасончик, вспоминая, есть ли у неё в запасах сиреневый поплин для отделки.

Слух её в это время невольно выловил фразу из телевизора: «Мудро – не печалиться, а радостно стремиться», и она тут же записала ЭТО как бы оборкой по эскизу подола. И уложила себе в память на вечер для телефонной беседы с Витой Анатольевной, отставной театральной актрисой, большим знатоком скрытой стороны вещей.

И тут спохватилась, что опять пропустила выход в радиоэфир дочери в её «Ветрах времён», хотя оставалось только нажать клавишу, всё было настроено. Промашке сей тайно пордовалась: столько негатива пришлось бы пропустить через душу!

Позвонит дочь с упрёками – прикинется старой дурочкой – склерозницей.

4

Варя Бронева (псевдоним) с копной фиолетовых дредов, похожая на цветок чертополоха-татарника, разгорячённая, колючая, жадно курила, присев на край стола у стеклянной стены с видом в радиостудию, где она только что «вломила правду-матку стерильным либералам», поднявшим было вой из-за высадки нашего десанта на спорный остров в Охотском море.



В отдалении от «Бронебойной», как бы уворачиваясь от её табачно-дымовых залпов, прохаживался с бокалом виски в руке её недавний оппонент по радиодискуссии, могучий сорокалетний писатель, редактор журнала «Повеса» Андрей Нарышкин – из древней породы российских вельмож, выжившей благодаря талантливому, очаровательному генетическому лизоблюдству – остряк и бабник, с гигантской памятью (гига) и молниеносной операционной системой, умный, яростный и бесстыдный до крайности, записной охальник, действующий по правилу «раз – и на матрас».

Он ворковал на низких, подбрюшных регистрах:

– Это в тебе бабье проснулось, Варенька. Бабы склонны к мелкому воровству. Всё в дом! В пещерку! Вот и островок – под себя. Эта вечная ваша жажда расширения жилплощади!..

– Фи! Какой же ты сексист, оказывается!

– Скажи спасибо, что не сексот.

– А кто тебя знает?

Здесь, без микрофонов, кулуарно, они изъяснялись вовсе не театрально, как в студии, а грубовато, по-свойски, не стесняясь буфетчицы, договаривали недоговорённое в эфире, не боясь обнаружить неприличные крайности своих представлений об истории с «островом», прослыть радикалами и убить собственную репутацию – Варя Бэ, в газете «Ваша» будучи перлом общечеловечности с лёгким налётом отступничества, обнаруживала здесь абсолютно ястребиную сущность, а символ мужественности и милитаризма в своём журнале Рыжий (от – НаРышкин, и в самом деле шатен) не боялся здесь покрыть себя позором убеждённого либертарианца.

Свой градус в политическую пикировку добавляли и одновременные эротические переживания спорщиков.

Когда писатель подсел к ней, то вместе с облаком одеколона «Хуго» накрыло её и «обес-точило» ещё и биополе великовозрастного плейбоя. Она близко увидела валики его губ – упругие и влажные, вислый, породистый боярский нос в веснушках, животную тоску во взгляде.

Чтобы ослабить эту гипнотическую силу, Вар-вар вонзила свои синие ногти себе в запястье и хриплым низким голосом стала смеяться навзрыд, а он продолжал изрекать какие-то неприличия про Жанну д'Арк, Маргарет Тетчер и Монику Левински, на которые надо было бы дать достойную феминистскую отповедь, но она уже не в силах была сказать что-либо ударное, её сотрясала дрожь, и одна мысль проносилась в голове: «Неужели опять в машине? Ведь сегодня же панихида и похороны».

Истерила Вар-вар ещё и по поводу этого печального события – кончины бесстрашной, пламенной, безбашенной Ноны Горской – вместилища всей ярости русского инакомыслия последних тридцати лет, одержимости на уровне боярыни Морозовой, великой насмешницы-клоунессы с обликом бабушки-добреньки, к старости превратившейся в некое желеподобное существо в очках-линзах.

Печаль Вар-вар была глубока, сердечна, и на пути из студии к автостоянке, в лифте, когда писатель стал тереться о неё, она, под действием траурного настроения и благодаря краткости атаки, легко управилась с ситуацией. Но в машине она опять оказалась на грани срыва.

– Мы же на похороны едем, Андрей! – шептала она, сопротивляясь и ожидая от него расслабления, но напоминание о погребении, наоборот, словно подхлестнуло его.

Он шептал в её ухо, дышал в глубь черепа, ввival в мозг ядовитые струи скоропалительных размышлений о том, что любая смерть, похороны только разжигают страсть, требуя возмещения потери, заполнения образовавшейся пустоты.

Выходило, что она должна подчиниться даже не ему, а некому высшему закону. И опять обрушивались спинки передних сидений в его вишнёвом «Вольво», опускались шторы...

Впрочем, она никогда не могла в машине вполне забыться и дать душе волю – смущали тени за тёмными стёклами, гул транспорта, а то и гудки, сигналы, – это отвлекало, хотя писатель всегда предупредительно погромче включал приёмник, так что музыка тоже, хоть и невнятно, присутствовала в происходящем здесь с ней, и на этот раз стала спасительницей.

Когда ди-джей объявил следующий номер, у неё пропал и без того невеликий энтузиазм, потому что прозвучало: «Альтерайд» – название группы её младшего братца.

– Это Антошка! Антошка! Я не могу! Не могу!..

5

В домашней студии квартиры Синцовых потный нечёсанный парень под гигантским пороновым абажуром хрипел в микрофон:

– Любовь – самый сладкий яд,
Результат предательского наркоза.
Любовь...
И ты подышаешь как от ломки или от передоза...

Лицо парня казалось вытянутым одинаково в ширину и в длину – за счёт полушарий наушников. Он пел с закрытыми глазами, пот капал с носа, брызгал на сетчатый щиток. Его горло то исторгало опорный академический вокал, то голос ускользал к высотам фальцета, а то вдруг переходил на скрежет и утробный рык.



В финале его долго трясло, будто на электрическом стуле, пока, наконец, он, измученный до полусмерти, не вывалился из-под колокола – эхогасителя, щёлкнул мышкой, останавливая запись, рухнул на широченную кровать, как всегда незаправленную, и принялся большими глотками вливать в раскалённую глотку дешёвое пиво из горлышка, словно узник пыточной камеры после окончания экзекуции в этом логове, напоминающем лежбище бродяги: окно замуровано ватным одеялом, балкон забаррикадирован раскладушкой с матрасом, одеждой плотно увешаны входные двери, с потолка свисает брезент, как крыша огромной палатки, и только в одном углу торжествуют высокие технологии – сверкает лак барабанов, медь тарелок, громоздятся компьютеры, микрофоны, динамики, пульта, электрогитары (четыре штуки) и синтезатор с клавиатурой рояля.

На кровати, занимающей едва не половину комнаты, размером с эстраду в небольшом кафе, раскинув руки и ноги, в одних шортах-карго с ёмкими накладными карманами лежал теперь он, Тоха-фриц, в самом деле удивительно похожий на молодого арийца в представлениях середины прошлого века – белокурый, изумительно ладно сложенный, живописный в своей ранней вызывающей молодости – идеальная натура для античного скульптора.

Запахом его пота помещение было перенасыщено, но нельзя сказать, что воняло, как в случае с потом мужицким и старческим, – пахло терпко, даже как будто сладковато.

Отбросив порожнюю бутылку, вскочил он с постели одним махом: вот только что лежал – и уже идёт, откидывает от балкона раскладушку и распахивает дверь – теперь можно впустить нежелательный при записи вокала шум огромного города, не стихающий даже в самый глухой ночной час, встать в проёме, вдохнуть весны.

С этой стороны дома, в противоположность видам из отцовского кабинета, город прирастал столичностью чем дальше, тем больше. Прикладная угловатая жилищность строений, прямые углы панельных домов словно обсыпались под действием различных пронизывающих изнутри клиньев и шпилей и венчались победоносным выстрелом останкинской телебашни, как штыря в географическом глобусе, вокруг которого и вращался город.

Там в вихрях и пульсациях духа мегаполиса пребывала сейчас и душа Тохи, представляющая из себя комок эмоций самых разных свойств. Его пожирало страстное желание прославиться, обрушить на сверстников со сцены камнепад невиданных до сих пор звуков и стихов, увидеть перед собой лес взметнувшихся «коз», море безумных глаз, восторженных слёз, в едином порыве с кумиром клеймящих враждебную власть (только вчера Тоха просидел в участке до утра «за распитие пива в неположенном месте» и жаждал мести). В его голове происходила теперь ещё и бешеная работа по сопоставлению философии панка и скина для окончательного уяснения текста очередной песни и уже оформлялась строка: «Скины – ссыкуны... Панки-поганки на лесной полянке...»

И до зубовного скрежета доводили его сейчас воспоминания о Лизке-террористке, вдруг объявившей об уходе к металлу-барабанщику, и Тоха в эти самые минуты стояния на весеннем холодке постигал ещё и азы сублимации, торжественно заклиная себя впредь избегать всяческих любовей и заниматься только рок-группой.

В захвате молодой ярости он всё-таки не упустил того опасного момента, когда сквозняк мог охрипеть его, лишит бесподобного инструмента для воплощения честолюбивых планов – голоса, – захлопнул балконную дверь, уселся на хлипкую треногу барабанной установки и включил мобильник.

Пришло время казни.

В списке пропущенных вызовов были проведены решительные операции по уничтожению злокачественных наростов: Ксюха – удалить, Лера – удалить, Ната – удалить...

6

«Клюв цапли» из нержавеющей стали нырнул в аквариум со слизнями – циклидами, похожими на черепашек с усиками, и Вячеслав Ильич попытался защемить одну из этих брюхоножек, но щипцы клацнули, как всегда, и соскользнули с панциря, просто мучение было с этими циклидами.

В двух других аквариумах и озёрный ушастик (солдатик в каске), и кружанка (завитой рожок) зажимались с первого раза, а с циклидами вечно проблемы. И тут Вячеславу Ильичу пришло в голову, что, может быть, самый ценный гель именно на панцире, а не на дорожке следов этого существа с миллионолетней родословной, которую он исследовал вот уже полгода.



Он отложил пинцет, засучил рукав белого халата, запустил руку в воду и с трудом отковырнул строптивца от стекла.

Зажатый в ладони «некто» облизывал и целовал взасос. Пришлось скальпелем соскабливать слюни этого сладострастника, и со скальпеля – на стекло, как масло на хлеб.

Дрябловатое веко заглотнуло резинку окуляра, и перед Вячеславом Ильичом на панели электронного микроскопа GEM спинной соскоб этой циклиды представился жидким студнем с прожилками, гораздо более длинными, нежели подбрюшные.

– Не может быть! – воскликнул Вячеслав Ильич.

Он оторвался от микроскопа и в фарфоровой чашечке принялся спешно готовить «среду» для выращивания, предвкушая новизну эксперимента. В это время его мобильник заиграл «Girl», ринг-тон, специально для него в гитарной обработке записанный сыном в его студии. Первая мысль была: «Варя», и команда себе: «Держаться!» Однако номер высветился незнакомый. Вячеслав Ильич включил и приложил телефон к уху.

В трубке раздалось:

– Ильич! Тут такое дело – опять в мой почтовый ящик твоё проскользнуло. Ты бы пас-сатижами загнул там кромку. Или давай я тебе помогу.

– Да, надо будет как-нибудь. А ты где, Борис?

– Да у твоей квартиры на площадке. Звоню, а никто не отзывается.

– У нас тут наглухо всё. Я сейчас подойду.

Он вышел на площадку голоногий в коротком лабораторном халате.

Перед ним стоял сосед-таксист на костыле, покалеченный отнюдь не в аварии, как было бы почётнее для профессионала, а в элементарном падении с крыльца «по пьяному делу».

Сосед передал извещение и поинтересовался:

– То самое? Разбогател, Ильич? Если так, то обмыть треба.

– Вечером, вечером...

Уже в притвор двери калека крикнул:

– До связи, Ильич!

Вячеслав Ильич запер дверь, и в свете бра прочитал на почтовом бланке исходный адрес: «European Court of Human Rights».

Это могло быть решение Европейского суда, финал долгого процесса (чуть не двадцать лет забытья, всплеска активности, надежд и разочарований) в деле о возвращении наследства деда Вячеслава Ильича – двухэтажного особняка в селе Окатово.

Он даже слабость в ногах почувствовал, нужно было прилечь на диван, чтобы немного прийти в себя.

Ткнул «вызов» в телефоне и прижал трубку к уху.

Послышался голос сына:

– Пап, чего?

– Пришло извещение с почты, сынуля. Не смотаешься? Письмо заказное надо получить. Мне что-то нездоровится. Зайди прямо к заведующей. Мы с ней приятели.

– О чём речь!

И в ту же минуту Тоха очутился перед отцом.

Вячеслав Ильич передал извещение сыну – ветхая пясть в крупных веснушках посредством бумажки близко сошлась с нервной тонкопалой точёной пятернёй сына – два чуждых века, две несовместимых плоти, два мешка разноразных чувств...

Они с сыном перекинулись парой незначащих фраз.

– Ты что, прямо так в шортах и на почту пойдёшь?

– Я на машине, пап.

– Не по сезону ещё вроде бы эти шорты.

– На машине туда-сюда...

7

Старенький «Фольксваген» семейства Синцовых оказался зажат на стоянке. Как долго Антон ни вилял задом по сантиметру, но всё-таки пришлось пойти на таран, высунувшись в окно, глядеть как бампер его машины приближался к соседней и наконец каснулся.

Сигнализация не сработала, и Тоха решительно начал продавливание – пластмасса по пластмассе – ничего страшного, пускай даже консержка, севшая в первом весеннем припёке на скамейку у крыльца, заметила, как качнулась порожняя машина, – потёртость будет не столь велика, чтобы хозяин кинулся на поиски обидчика. Чёрный пластик это не какой-нибудь там никель или полироль с тюнингом. Бамперы из пластика словно надувные.

Тоха поехал закоулками вдоль пруда.

Плита льда всплыла и в водяной окантовке были видны дохлые караси величиной с ладонь – назначенный в приходскую церковь бывшего сельца Леонова новый поп поленился нынче вырубить иордань на Крещение, вот и задохлась рыба.

А может быть, – подумал Тоха, – спустил втихаря какую-нибудь гадость папочкин «Х-прибор».

Возле бетонной стены этого «Х-прибора», увитой праздничными, новогодними с виду, спиралями Бруно, протиснулся Тоха на своём авто, минуя пробку на проспекте, – прямо на задки почтового отделения № 128247.

Ключ зажигания влево, язычок света – вправо, ручник – вверх.

И ещё один тумблер (в себе) перевёл Тоха в положение артистичности с вечным стремлением любым способом удивлять публику, неважно какую и как, а зрение – в режим раздвоения личности со взглядом на себя со стороны будто в окуляр кинокамеры.

Сейчас он видел себя выходящим из машины.

Свои ноги в кроссовках с развязанными шнурками.

Красные от холода голые коленки.

«Этот парень» в шортах танцующей походкой идёт по снежной слякоти.

Несколько прыжков по ступеням – и безбашенный водила в пуховике с меховой оторочкой скрылся в почтовом офисе.

За стойкой девушка-операторша в жёлтой форменной блузке наклеивала марки на бандероли.

Марка прилипла к языку при виде клиента одетого явно не по сезону, едва ли что не в трусах.

Она узнала в нём звезду интернета Тоху Fritz'a.

Рок-звезда поколения «И-Нет» навалился боком на стойку и жестом на посыл взмахнул своей бледной музыкальной пястью.

– Мне начальницу!

– Ой, да ты проходи, проходи!..

Решив исключить девчонок из своей жизни для упреждения боли от измен, как это случилось с Лизкой-металлисткой, и получения максимальной степени свободы, Тоха перед этой почтовой обожательницей напустил на себя холодность и скуку.

Пройдя под откидной доской офисного барьера, намеренно громко хлопнул за собой и далее двинулся шаркающей походкой пресыщенного жизнью человека, будто бы впавшего в забывчивость, взглядом со стороны строго контролируя себя в образе.

Девчонка-почтариха, похоже, получила свою порцию ледяного равнодушия.

Он был доволен собой.

Но уже перед дверью начальницы его остановила мысль: а не попадает ли он из одного капкана в другой? Что предпочтительнее – жизнь с риском потери свободы в захвате женского пола или жизнь под гнётом этой новой охранительной моральной установки?

Он думал об этом, когда передавал почтовое извещение величественной брюнетке в кителе с шевронами, эдакой мамке, пережидая поток её ласковых слов, рассеянно отвечая на вопросы о здоровье отца.

Оставался захваченным сомнениями, достанет ли у него выдержки для осуществления нового курса сугубо мужской линии жизни, – когда начальница офиса звонила отцу и высказывала опасения по поводу посредничества сына в такой важной международной почтовой операции, как получение письма из Европейского суда.

И удивлялся, сколь быстро, всего за несколько минут, пока он сидел в этом кабинете, становилась для него всё менее и менее привлекательной роль женоненавистника, так что уже на обратном пути у барьера в зале он снизошёл до того, что поставил глупенькой почтарихе автограф на каком-то бланке, думая, что вполне может быть, частица женского начала внедрена в мужчин как шпионский чип, подслушивающее устройство, датчик автомобильного навигатора и «так они управляют нами».

Домой поехал через проспект.

Разогнался до ста и завопил:

Мысли
Мой мозг прогрызли Не подходите
К медведю-гризли!

Озадаченный решением дилеммы, орал он и в лифте, не очень-то задумываясь, что его слышат на каждом этаже.

Он замолк от изумления перед неожиданно открывшейся дверью лифта, будто никогда этого раньше с ним не случалось.

Едва сдерживая рвущуюся из души музыку, Тоха в прихожей сунул в руку отцу его драгоценность в виде пластикового пакета с логотипом из трёх башенок ЕСПЧ и, оставив родителя контуженным своей душевной бурей, с треском захлопнул дверь «бомбоубежища».

Снаружи на двери зажглась красная лампочка, означающая: не стучать, не звонить, не подслушивать, не волноваться, не ждать...

Родители переглянулись, как бы спрашивая: «Что это было?»

8



Тоха держал родителей на голодном пайке общения единственно от переизбытка своих музыкальных желаний, артистических вожделений. Находясь в метре друг от друга они, имея по отдельной комнате, порой сутками не виделись с сыном. Если бы и Гела Карловна пожелала перенести свою постель к себе в «портняжную», тогда бы получилась у них пещера «трёх холостяков», как шутил Вячеслав Ильич. Соединял их, даже когда они были разделены бетонными стенами, звук, исходящий из студии Тохи. Но не всякий, а низкочастотный, герц так в двадцать-тридцать, неслышимый, но колеблющий тела как микромассажёр. Так происходило, когда Тоха сочинял музыку в стиле клубняка или для саббуферов прокачанных тачек, то есть автомобилей золотой молодёжи, едущей в кабриолетах и поражающей пешеходов силой своих динамиков.

Вячеслав Ильич с супругой «подсели» на этот ультразвуковой наркотик, потребность выработалась и физиологическая, и душевная.

Заколебался воздух, значит, сейчас станет легко и благостно с одновременным приветом от сына, мол, жив, здоров и сочиняет.

В таком состоянии они сейчас и находились в холле, испытывая приятные толчки воздуха, как будто от проходящего по Московской окружной дороге за парком старинного паровоза с туристами.

И могло показаться, что Гела Карловна так была захвачена этими переживаниями внутреннего свойства, что вовсе не испытывала приступа женского любопытства – пакет в руках мужа как бы не интересовал её, тем более что она не имела привычки спрашивать мужа, куда пошёл, что делаешь, о чём задумался – короче, не лезла в душу, но совсем не от безразличия, наоборот, каждый чих, каждый вздох его слышала, каждый взгляд ловила, всякое настроение схватывала, однако не была настолько примитивна в своей семейной роли, чтобы когтистой орлицей нависать над домочадцами, а предпочитала матушкой-гусыней неслышно похаживать среди них.

Определённо, команданте надо было побыть одному, и она, чтобы не спугнуть его лунатического состояния, стала медленно удаляться в направлении кухни, сцепив руки под грудью и склонив голову, – ждать, когда его самого принесёт к ней на беседу.

Вячеслав Ильич ушёл к себе в кабинет, отодвинул микроскоп и на освободившееся место уложил пластиковый голубой конверт с красной полосой по диагонали, похожий на флаг Республики Конго.

Одним лёгким бесшумным движением скальпеля вспорол его с трёх сторон и извлёк несколько листов полупрозрачного пергамента, что-то вроде кальки с ярким, будто тушью напечатанным текстом.

«Постановление Европейского суда по правам человека от 10 марта 2014 года по делу № 49806/99 „Синцов против России“ („Sintsov vs. Russia“).

Обстоятельства дела:

Заявитель, гражданин России Илья Синцов (его доверенное лицо Вячеслав Синцов), проживает в г. Москве.

В сентябре 1931 года советские власти национализировали дом семьи Синцовых и выслали его в Сибирь.

Принятый 18 октября 1991 года Закон „О реабилитации жертв политических репрессий“ предусматривает возврат наследникам имущества, незаконно изъятого в годы политических репрессий, если оно сохранилось в натуральном виде.

В связи с этим в 1993 году заявитель подал в районный суд г. Важского иск с требованием о реституции дома его предков. В период рассмотрения дела оспариваемый дом занимала школа.

Заявитель согласился ждать постройки нового здания школы и освобождения дома его предков.

В 2011 году дом предков заявителя, в котором находилась школа, был освобождён, но занят конторой лесопильного предприятия.

Заявитель обратился в суд вышестоящей инстанции и получил решение о выселении вышеназванной конторы из дома его предков.

В 2012 году это решение было выполнено. Однако акт о признании гр. Синцова владельцем дома его предков из-за бюрократических проволочек так и не был утверждён.

Позиция Европейского суда по правам человека такова:

Европейский Суд в данном деле напоминает, что пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантирует каждому право на рассмотрение его жалобы в отношении его гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, имело место нарушение статьи 1 Протокола № 1 Конвенции.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства и исходя из принципа справедливости, Европейский суд постановил считать гр. Синцова владельцем дома в с. Окатово с сего дня 10 марта 2014 года...»

9

– Мандат, однако! – громко самому себе сказал Вячеслав Ильич и принялся возбуждённо ходить по кабинету, рассекая воздух скальпелем.

– Двадцать лет! Двадцать лет!.. Жаль, отец не дожил!..

Долго выковыривал Вячеслав Ильич (по доверенности немощного отца) родовое строение из глотки государства.

Его, большого поклонника и знатока анархизма, невысоко ставящего государство как институт в принципе, тогда в хлопотах по возвращению дедовского дома опять и опять поражала в столкновении с ним, государством, пусть и обновлённым в перестройку, заключённая в нём степень лжи и презрения к человеку: первый же запрос из архива принёс тогда обескураживающую весть о том, что «испрашиваемый» Матвей Лукич Синцов, купец второй гильдии Окатовского уезда Поморской губернии никогда не существовал в обозначенных временных и пространственных пределах.

Крайне возмущённый Вячеслав Ильич поехал тогда, в 1992 году, в областной Поморск, скандалил в архиве, требовал доступа в хранилища, повышал голос, размахивал руками и выведен был за порог дюжим охранником.

Сразу из Поморска ринулся уже в самое село Окатово для поиска живых свидетелей обитания на земле несчастного деда...

Это был второй его приезд на родину.

Вообще, дом этот в жизни Вячеслава Ильича появился во времена его послевоенного детства.

Про этот дом и про всю историю рода Синцовых в трёх-четырёх последних поколениях нашептала Вячеславу Ильичу бабушка (мать с отцом были повязаны с властями обетом молчания, будучи одна – учительницей, другой – журналистом). Бабушка, как представитель исчезающего свободного русского племени, видимо, долгом своим сочла вживить в память внука черенки былых событий в судьбе кровных предков. Она была круглолицая, улыбчивая, с клубком волос на затылке, имела фамилию в девичестве Мишуткина, ходила в перевалочку и красным словцом владела (шуткой). И запомнилась Вячеславу Ильичу упоённой чтением «Анны Карениной» в зелёном огоньковском переплёте 1956 года издания, долгим изнурительно-сластным «пыканьем» – как насмешливо называли её манеру постижения классики мама с отцом – с шевеленьем губ, с прощёптыванием.



Вряд ли сами родители столь самозабвенно исследовали эту историю, как это делала бабушка, родившаяся ещё при жизни Толстого и сама, как потом узнал Вячеслав Ильич, пертерпевшая развод, уход к любимому, его гибель на войне...

Ей, должно быть, стало легче жить в старости, когда она «пропахала» подобную историю сестры по несчастью или, наоборот, счастью...

Однажды она провожала за ручку семилетнего Славика в школу на окраине Москвы и всё с той же вечной улыбкой на пухлом лице, как бы и над своими словами шутя, сообщила вполголоса: «Славушка, а Сталин-то плохой был».

И с того дня, каждый раз по пути до «классов», излагала Славику по эпизоду страшной и восхитительной сказки «старорежимных» времён из жизни деда по отцовской линии с диким, инопланетным звучанием таких слов, как *церковный староста*, *уезд* и *волость*, *подушный надел* и *ярмарка*, *прибыльное дело* и... *крестовоздвижение*!

В просветительских планах бабушки было и паломничество к святым местам под предлогом встречи с её сестрой.

Из Москвы они проехали на поезде, а из Поморска поплыли на колёснике. Это плавание запомнилось вот чем: на голове Славика была новенькая, сшитая по заказу столичным шляпником кепочка-восьмиклинка с пуговкой на макушке. Он глядел за борт на буруны из-под колеса парохода, и кепочку сорвало ветром с головы. Мальчик был ошеломлён коварством стихии настолько, что даже не сопротивлялся, когда голову повязали платком, «чтобы ушки не надуло», и он ходил по палубе таким уродцем, хуже того, «как девочка», а нелепости положения не сознавал.

На следующий день такого же, в платочке, бабушка подвела его на окраине села Окатова к стоящему на склоне холма огромному чёрному сооружению, и он услышал опять же потря-

сающие, неправдоподобные слова. «Вот тебе дом. Он – твой», – сказала бабушка, как бы с многократной щедростью возмещая утрату восьмиклинки.

И потом, по приезде в Москву, почитай, каждый вечер на своей кушетке в комнате Славика перед сном распуская и расчёсывая волосы, наговаривала ему что-то из родовой старины, всегда негромко, тайно, чтобы не прослышали.

Мама, однако, вызнала, и однажды Славик увидел, как мама на кухне сурово выговаривала бабушке, грозно возвышаясь над повинной седой головой: «Не надо ломать мальчику душу!»

Но прививка уже произошла, в сломе прижился бабушкин черенок, стал напиваться соками вольных шестидесятых, социализмом с человеческим лицом, конвергенцией, и к восьмидесятым годам, когда Вячеслав Ильич был уже завлабом секретного «Х-прибора», в душе его пышным цветом распустился демократ – неперенный участник всех грандиозных манифестаций тех лет в Москве, защитник баррикад 1991 года, – новый русский (подвид идеалистов), ибо большинство коллег, по своей учёности умеющих промысливать на три-четыре хода вперёд, дружно ринулись в кооператоры, спекулянты, акционеры – стали откровенно делать деньги, а у него как заклинило. Дом. Род. Реституция.

И в те годы, когда бывшие подчинённые сотрудники его лаборатории уже покупали дорогие иномарки и строили коттеджи в Подмосковье, он всё ещё занимался «чистой наукой», находился на их содержании и согревался одной тайной мечтой о возвращении родового гнезда в глухом северном селе, захвачен был судебными хлопотами, рассылками жалоб, выбиванием справок. Жил своей частной жизнью, никогда уже потом после 1991 года не впускал в себя политику, не захлёбывался ею, будучи окружён ею как пловец морем, – душу его теперь не отторгали только три вещи: биохимия, женщины и родовой особняк, а социализм, равно как и капитализм, вызывали в нём одинаково недоверие и скуку.

Этот каприз Вячеслава Ильича (купирование в себе стремления к обогащению) мог бы быть подавлен волей жены, как это получилось у супруг многих его учёных-коллег, настоявших на более достойном, по их мнению, приложении мужниных энергий нежели исследование структуры биоцеллюлозы или тяжба за строение сомнительной ценности.

Подраставшая дочка Варя, дитя своего времени, в семье Синцовых взявшая на себя роль хваткой, практичной особы, и – точно – нападала на «папу» с упрёками в прекрасноту и бездействии на арене битвы за первичный капитал, но оказалась в меньшинстве, ибо поэтическую душу матери, Гелы Карловны, в своё время крестиком вышившую портрет героического кубинца-бессребреника, как-то незаметно тоже захватило одержимостью её любезного личного Че, его возвышенными идеями о необходимости сращивания разорванных времён, врачевания национальной вражды, создания из двух прошедших эпох конгломерата великого будущего – хотя бы на примере одной семьи, одного рода – тоже, по сути, химического опыта под названием «воссоединение», результат которого можно будет «внедрить в массовое производство» (никуда не деться от научного мышления!)...

Появившись в селе Окатове в 1992 году после скандала в поморском архиве, Вячеслав Ильич шагнул к сельсовету в остроносых итальянских туфлях «Tektony», в жёлтом клетчатом плаще «Barberry» до пят, а по воротнику плаща мерно похлёстывал схваченный резинкой седоватый хвост-хаер. И без того узкое лицо наследника с тонкой косточкой носа удлинилось вверху открытым лбом, а внизу – курчавой светлой бородкой – необходимым атрибутом столичной академической фронды тех лет.

Таким он и нырнул в низкую дверь бывшего «трактира Синцова», Матвея Лукича, – его униженного, оскорблённого и убиенного деда.

Теперь «зала с самоварной стойкой» была перегорожена натрое; налево за дверью сидели счетоводы, направо – председатель сельсовета, а посередине – нестарая дородная цербер-чиновница в глухом суконном платье с белым воротником.

Будто наяву видел сейчас Вячеслав Ильич, позванивая скальпелем по стеклу окна на десятом этаже московской квартиры, как она поправила тогда корону кос на голове, стряхнула пальцами несуществующую пыль с пышной груди и кокетливо поинтересовалась: «По какому вопросу, товарищ?»

По мере того как Вячеслав Ильич излагал ей цель своего появления, показывал листок со свидетельскими показаниями одного из старожилов села о проживании деда, пояснял необходимость приложения печати для получения статуса документа, втолковывал, нажимая на такие слова, как *перестройка мышления, поправление права частной собственности, реституция*, – взгляд сановной селянки рассеивался. Она бледнела. На месте милого личика вылепливалась физиономия стандартной госслужащей, солдата невидимого фронта.

Она даже попыталась заступить Вячеславу Ильичу дорогу к кабинету председателя, но Вячеслав Ильич опередил, втиснулся за порог и даже некоторое время придерживал дверь от толчков сзади.

Ясно помнился Вячеславу Ильичу и тот старый партийный делец-председатель с густыми волосами на голове, тщательно зачёсанными назад до плотности шапочки, в двубортном пиджаке с острыми лацканами, встретивший его насторожённым, бегающим взглядом опытного оценщика: «Синцов, Синцов... Да, да... Как же, как же...»

Ни апломбом, ни лексикой этого номенклатурного зубра не взять, понимал Вячеслав Ильич и сразу пошёл на таран – выложил на стол перед ним синьку-копию революционного закона о собственности 1992 года.

В результате долгих учтивых препирательств на листке с повествованием сельского старожила о существовании на этой земле предка просителя появилась ещё и приписка председателя: «Проживание гражданина Ф. П. Грибова (знавшего покойного деда ещё живым) на территории села Окатова удостоверяю».

Председатель подписал, долбанул печатью и уже в дверях остановил уходящего Вячеслава Ильича:

– Ну, зачем вам этот дом? Такая ведь морока!

Готовой фразы у Вячеслава Ильича тогда ещё не выработалось.

Он задумался.

– Даже не знаю... Хочется...

Покачивание мудрой чиновничьей головы и глубокий вздох должны были донести до Вячеслава Ильича его мнение о полной бесперспективности затеи...

– Победа! Это победа! – вспоминая этого бюрократического мудреца, восклицал теперь Вячеслав Ильич, расхаживая между своих колб и микроскопов с листами постановления ЕСПЧ в руке как с нотами для разучивания песни.

Настроение было приподнятое чрезмерно, радость так светла, что он без усилий отогнал мысль вспрыснуть великое событие разведённым спиртом из шкафа с химикатами. Вместо этого взял с полки пианику (волынка с клавишами), завалился на диван и ударился в импровизации на тему «Шотландской застольной».

Retro

На восьмисотом километре федеральной трассы М8 вскоре после поворота влево к селу Окатову этот чёрный особняк в два этажа и с башнями по краям гнезвился на каменистом косогоре в редком корявом сосняке, краплённый золотистыми каплями живицы, цельно-лиственничный, монолитно закаменевший: остов намертво пропитался спекшейся смолой, как железнодорожные шпалы креозотом.

В отличие от сосновых и кирпичных это лиственничное строение являлось единственным на сотни километров вокруг, а может быть, и на тысячи, как единственной была когда-то в верховьях протекающей здесь реки Умы и лиственничная (*Larix*) роща.

Окатовские мужики, случайно обнаружив в конце позапрошлого века за Большими умскими болотами скопление невиданных в этих широтах лиственниц, объяснили их произрастание здесь не иначе как Божьим промыслом. Однако бывший среди них старик-ведун за ужином у костра истолковал «аномалию» согласно строгим положениям лесных наук.

Он сорвал шишку с «лиственки», выложил на ладони в свете костра, полюбовался её бирюзовой самоцветностью и принялся расковыривать толстым ногтем.

Шишка оказалась спящей. Созревшее по осени зерно в ней выстрелит в марте, на первом пригреве, – пояснял лесовик, и будет похожим на капельку затвердевшей смолы.

Где-то в тёплых краях, может, даже в самой Греции, – говорил он, – лет пятьсот назад словно дождиком посыпало такими зёрнышками с лиственниц, и в тот же час горихвостка – маленькая птичка с оранжевым хвостиком – пролетела сквозь этот зернопад на пути к северу.

Одно семечко прилипло у неё на затылке, под гребешком, где ни клювом, ни коготком ей не достать, и помчалось на птичьих крылышках за тысячу вёрст.

На волнах весны через месяц донесло горихвостку с семенным грузом на спине до истоков Умы.

Стала она выбирать место для гнезда, сунулась, как водится, в грудку валежника, поползла меж сучков, втискиваясь как можно глубже, и в какой-то момент словно гребёной вычесалось у неё это зёрнышко из перьев и скатилось на прелую землю.

Ожило, полезло острым корешком за своим законным млеком в матушку-землицу, что ни день, то вырастая на вершок (с дальнейшей скоростью полсажени в год).

Их, ростков, таких сладеньких, берёзовых, сосновых, ольховых, той весной много ринулось в путь к центру Земли вместе с залётным, да, почитай, всех пожрали кроты с мышами, а «листвену» подземная грызь обошла стороной, ибо как только возьмёшь это зёрнышко на зуб, так и увязишься, и огнём будет гореть в пасти – не дай Бог.

Через десяток лет созрела чужестранка до возраста продолжения рода. Иное бы дерево стало пару искать, и коли не оказалось бы таковой поблизости, то, отжив свой одинокий век, сгнуло бы без следа и потомства, а в лиственке и мужик и баба на одном стволе, – толковал старик-лесовик. На одной ветке жёлтые дольки выкидывает мужик, и рядом баба – розовые, тут же на ветке и завязь случается, и зёрна нарождаются к осени – теперь и без посторонней помощи одним лишь ветром могут рассеиваться окрест, плодятся и множась на новом месте жительства...

Узнав от разведчиков об этой диковинной роще, окатовский купец Матвей Лукич Синцов в 1892 году загорелся идеей построить себе торговый дом из «вечного» дерева, и снарядил артель лесорубов.

Придя на дело, мужики поставили шалаши и взялись за топоры, но и, – двух лесин не повалив, отступились: лезвия залипали в смолистой плоти невиданных деревьев, приходилось обжигать сталь на огне, отчего подгорали топорщица, орудия становились негодными.

Пообедали и побрели обратно в Окатово на поклон заказчику, намереваясь отказаться от подряда.

А купец был упорист.

Посидел с мужиками, подумал и авансов от них не стал назад принимать.

На сахарной обёртке нарисовал чертёж топора-«американца» (видал, будучи за океаном) и велел окатовскому кузнецу сковать таких счётом по количеству мужиков в артели.

Через неделю положили на плечи окатовские лесорубы невиданные доселе в этих местах топоры с длинными рукоятками и с узкими, как долотья, стальными лопастями, каждый взял ещё по двухфунтовой жестянке со скипидаром, и убрели обратно в лес.

И в делянке теперь в надсек стали мужики брызгать скипидаром, смола разжижалась, а если всё-таки увязал клювастый, тогда «эдакий костыль» и над костром держи сколько надо – огонь до проушины не доставал.

За зиму наготовили штабелей и вслед за ледоходом принялись скатывать в реку для сплава к месту постройки, да опять обнаружилась незадача – брёвна тонули будто вовсе и не деревянные, так что пришлось ещё к каждому листовенничному утопленнику прирубить по два плавучих сосновика.

Едва успели пригнать до ледостава.

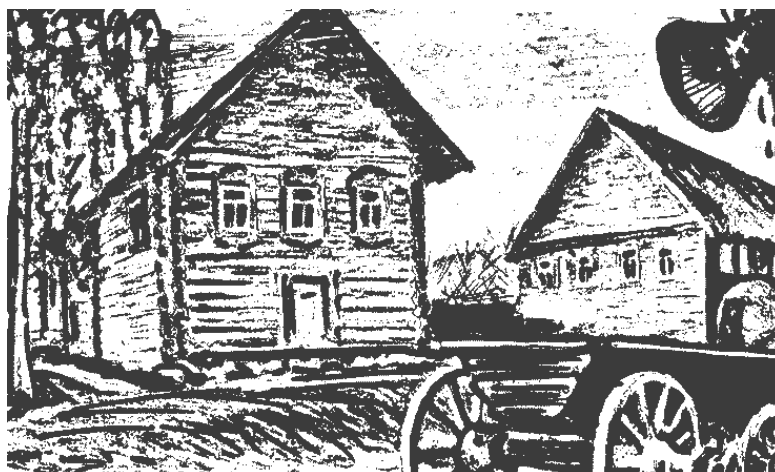
Строили «замок» по проекту губернского архитектора.

Промеж двух островерхих башен – два этажа: нижний торговый со сводчатыми окнами за рядом колонн, а сверху по всему второму этажу – галерея для прогулок и чаепитий...

Часть II

Соловей залётный

*Ах, зачем эта ночь
Так была коротка...*



1

В тот приезд на родину (1992 год) Вячеслав Ильич вынужден был провести ночь «на квартире». Старуха-хозяйка, сама, видимо, охочая до гулянок в молодости, предполагая и в своём блестящем постояльце неугомонную тягу к игрищам, кормя его щами, настойчиво убеждала посетить танцы в сельском клубе (была пятница). Не столько от её агитации, сколько от безрадостных перспектив долгого соседства с пожилым человеком в обстановке полнейшего неуютя Вячеслав Ильич рискнул развеяться.

Стояло время томительных бесконечных вечеров конца июня, когда солнце зависало, и здесь, в Окатове, светило в этот час прямиком вдоль шоссе.

Раскалённая белизна ослепляла Вячеслава Ильича, шагавшего по обочине, засунув руки в карманы распахнутого плаща.

Ворот битловки подпирал бороду, что придавало претенденту на родовую недвижимость вид несколько воинственный.

Вечноговоритель у конторы талдычил о подписании нового союзного договора, об изъятии из оборота сторублёвых купюр, получении из Америки кредита на продовольствие, но по мере приближения к клубу всё отчётливей становились слышны слова песенки из самодельных фанерных колонок на танцплощадке, огороженной дощатым бортиком по самой кромке горы над Умой, ещё полноводной и густо замешанной на глине весенних стоков.

Ой, напрасно, тётя,
Вы лекарство пьёте...
Не волнуйтесь, тётя,
Дядя на работе...

И так далее.

Доски на танцполе были проломлены в нескольких местах, две девочки-подростка, шерочка с машерочкой, ловко избегали попадания в проломы, зачарованно кружились в обнимку, подсакивали и кривлялись. На скамейках по кругу сидели парни, девки, молодые бабы и старшухи – контролёрши нравов, беспощадные моральные прокуроры.

Поднявшись по ступенькам на площадку, Вячеслав Ильич в замешательстве встал у входа – присесть было негде, и в это время все без исключения собравшиеся, даже прыгающие девчонки, повернули головы в его сторону и принялись рассматривать, словно какую-нибудь экзотическую птицу.

Парни потеснились на скамье, и он сел.

Напрасно он думал, что защищён бронёй неизвестности, всё село уже знало, кто он такой и зачем прибыл.

Парень в сапогах, в кособокой кепке, пиджаке, под которым была только майка, сворачивая сигарку, прошёлся слюной по кромке газетного желобка и сказал соседу, кивнув на Вячеслава Ильича:

– Барин приехал.

– Это вы обо мне? – спросил Вячеслав Ильич. Ну, какой же я барин! Мой дед из мужиков. Купеческое звание не в счёт.

Столь ничтожной провокации оказалось достаточно, чтобы приезжий щёголь попался на крючок и лукавое крестьянство пошло в наступление, – окружили Вячеслава Ильича физиономии грубой простонародной выделки, и оттого ещё более обаятельные, улыбчивые и приветливые, совершенно невозможные в Москве – что ни лик, то и племя: лупоглазые чудины, тоймяки гранёнолице, широкоскулые брацковатенькие (смесь славян с тюрками), чистилики угорцы

без всяких признаков бороды, ильменские славяне с размытыми, мягкими чертами, впрочем, тогда, в первом приближении, все показавшиеся Вячеславу Ильичу едва ли не на одно лицо.

Его обступили, обсели на корточках, обласкали улыбками, заговорили.

– Как в Москве жизнь?

– В Москве – всегда хорошо.

– Это верно. Это так.

– А у вас?

– У нас ничего хорошего. Вот – махру опять курим.

– Брагу ставим. Вино по талонам.

– Вы знаете, – воскликнул Вячеслав Ильич, – а мне председатель сегодня дал два талона.

Завтра я уезжаю. Пропадут.

– Не пропадут. Давай сюда. Сейчас отоварим.

Потянулись к Вячеславу Ильичу руки – пожимали его узкую ладонь сильно, жёстко. Называли имена. Сергей. Толька. Валера...

– Вячеслав, – твердил купеческий отпрыск.

Потребовали отчество.

И стали звать его – Ильич.

Расселись, свесив ноги, на высоком обрыве Умы.

Солнце на ночь лишь покраснело, но так и не убралось. Пили, занюхивая хлебом, и в головах быстро полегло. Весёлой чёрно-белой гурьбой сбившись вокруг цветного Ильича ввалились в пределы танцплощадки, после чего, в сущности, и начались настоящие танцы. Кто-то из компании уже петушился, заводил драку. У кого-то набралось храбрости для приглашения девки.

Молодецкую удаль, готовность к сшибке тоже чувствовал в себе и сорокалетний Вячеслав Ильич, и кавалерство тоже играло в крови, будто бы он ровня был парням, – причащение водкой нивелировало разницу в возрасте.

Все они стали «братья во хмелю».

Он застегнул свой клетчатый плащ на все пуговицы, подтужил кашне и слишком твёрдым шагом и слишком решительно подошёл к одной молодой особе, ориентируясь только на какой-то её внутренний свет, зажжённый лишь для него, хотя глаза её были отведены, и чем ближе он подходил, тем старательнее она отворачивалась, в то время как невидимый свет в ней самой становился всё ярче и ярче, а оказавшись в руках Вячеслава Ильича, воплотился этот свет ещё и в объём и теплоту, исходящую из-под тонкой материи, обозначился впадиной спины под напуском кофточки и нежностью пальчиков в его ладони.

Только ко второй половине танца Вячеслав Ильич стал понемногу переводить взгляд на её лицо.

Она чувствовала это и опять же поворотом головы постаралась скрыться от глаз Вячеслава Ильича, понимая, что сейчас произойдёт решительный момент в их сближении.

Ход был её.

Она робко, с опаской взглянула в его глаза и задержала взгляд ровно на столько, чтобы понять, не оттолкнула ли она его, почувствовать, не дрогнула ли его рука в этот момент, не отстранился ли он хотя бы на сантиметр, что могло означать бесперспективность этой случайной встречи, этого примитивного танца-хождения под песенку «Лето, лето, поцелуй до рассвета». Но произошло так, что будто бы её свет, её тепло вдруг перелились в него, она перестала краснеть, сделалась легче, тоньше, моложе, дотанцовывала радостно.

Он даже не успел узнать её имени, что послужило веской причиной для повторного приглашения, на которое она отозвалась как-то неохотно. В глазах следящих кумушек слишком откровенное согласие открывало бы в ней явное увлечение, лучше было бы этому «городскому» вообще пропустить пару танцев, но Вячеслава Ильича зацепило. Он, как говорится,

попался. Почувствовал какое-то обновление от затылка до пят, или, как он сформулировал, перепрограммирование.

Что-то неудержимо привлекательное было в этом неожиданно случившемся родстве сердец – он сознательно старался не прибегать к термину *душа*, как сомнительному и туманному.

– Меня зовут Вячеслав. Можно Слава. А вас?

Она не без испуга взглянула на него, как бы желая узнать, понимает ли он, куда может завести эта дорожка. Увидав в нём оглашенного, с некоторым даже безумством в блестящих светлых глазах, ничего не желающего знать кроме её имени, тихо ответила:

– Леся.

– Как! Леся? Именно Леся, а не Люся? Я не ослышался? Это вроде как украинское имя!

– Вообще-то я Александра.

– Нет, Леся – это хорошо. Очень хорошо!

Он проводил её на место и сел к собутыльникам.

Словно ужаленный, вскочил со скамейки его сосед Валера в кепке-развалюхе и застиранной майке под пиджаком. Парень встал в бойцовскую позу, ударил кулаком себе в ладонь и сказал:

– А ну, барин, пойдём выйдем.

– Зачем? – захваченный приятными лирическими переживаниями, Вячеслав Ильич не сразу уловил перемену в настроении парней.

– Разговор есть.

– Тут не можешь сказать?

– Что, сдрейфил, купец?

Только теперь понял Вячеслав Ильич, что предстоит расплата за удовольствие держания в своих руках этой самой Леси.

Он скинул плащ, бросил поперёк лавки и оставшись в одной битловке, плечистый, намного выше вызвавшего его на бой Валеры, первый сбежал по ступенькам и ещё ниже по тропинке, под гору на лужайку, у впадения в реку Маркова ручья.

Оглядел позицию, попятился, встал спиной вплотную к кустам, помня уроки молодых уличных потасовок возле студенческого общежития на московской окраине, беспощадно жестоких с битьём лежащего, и засучил рукава оранжевой водолазки.

Парни спустились втроём и дрались неохотно, ритуально.

Вячеслав Ильич в своей яркой одежде метался на фоне кустов как солнечный блик.

Отмахивался удачно. Устоял.

Попинали, правда, по ногам, пару раз достали до губ и скулы, на том и успокоились.

Подвели итог:

– Шурку не трожь!

– Какую Шурку, что вы, ребята? Её Лесей зовут.

– Для кого Елесья-колеся, а для меня – Шурка.

– Кто же она тебе будет – жена? Невеста?

– Сеструха. Ты поиграешь и уедешь в свою Москву, а ей тут жить.

– И потанцевать нельзя?

– Ну, в общем, ты понял, купец. Предупредили тебя...

Вячеслав Ильич следом за парнями опять взошёл на танцплощадку, надел плащ и сел на скамью.

Он бы, конечно, снова пригласил её, хотя бы только и в пикну «братану», но объявили белый танец, и она сама пересекла пространство очень быстрыми шагами, говорящими о том, что она догадывается о случившемся, негодует на защитничков и заявляет свою волю и право выбирать, с кем ей быть этим вечером.

Парни угрюмо курили, как вредные неучи. Один из них примирительно проговорил:

– Ты, Ильич, это... не обижайся. Так надо.

– Ну, надо так надо.

И он вскочил на ноги навстречу идущей к нему суровой и решительной Лесе, не чувствуя ни боли в коленке, ни онемения в распухшей губе.

Лесю до глубины души взвинтили удары кулаков парней по плоти «Славы», видимо, потому, что за время пребывания на танцплощадке и он, и деревенские парни, и эта молодая женщина стали неким единым целым. И махание кулаками подействовало на этот «раствор» подобно взбалтыванию, подогреву, стало катализатором процесса, как бы выразился учёный виновник всей этой заварухи с названием «любовь».

2

Когда на площадке отыграли последний танец, они уже чувствовали себя парой, признанной всеми, кто наблюдал их сближение.

И в них самих открылась новизна, удивительная для обоих, хотя и безотчётная; они шагали по гравийной дороге медленно, в ногу, как бы продолжая танцевать под радиогимн Глинки со столба «Славься!..», лёгкий, оперный, неожиданно умолкнувший на шесть часов подряд, отпустивший и страну, и село Окатово на свободу с гимнами перелётных птиц в этом недосвете белой ночи с отсутствием теней, когда светит везде одинаково – и по белому черёмуховому облаку, и под елью, и среди звёзд на небе...

Недалеко от села щебёнка вливалась в старинный Московский тракт, а ныне трассу М8. На перекрёстке лес был широко вырублен, выжжено кострище и обложено брёвнами для сидения, где они и устроились. Плащ Вячеслава Ильича был на плечах Леси, она куталась, внюхивалась в ворот, и вскоре уже оба сидели под этим необъятным и долгополым плащом, сшитым на берегах солнечной Адриатики под цвет её пляжей.



Негромко говорили о чём-то.

Более бессмысленных разговоров, нежели у влюблённых, не услышишь нигде.

Разве что в болтовне женщин присутствует ещё эта умопомрачительная несуразица, и мужчина, попадая под влияние женщины, как произошло с Вячеславом Ильичом в данном случае, невольно захватывается языком шифровки, обиняков и недоговорённостей, когда почему-то необходимо затуманивать вполне определённые намерения, продлевать время, выдерживать сроки, о которых знает, которые испытывает на себе женщина, называемые периодом ухаживания, – святое дело для парочек, длящееся годами, днями, часами, а иногда и минутами.

Об этих «периодах полураспада» знал Вячеслав Ильич, как человек сведущий не только в биологии, но и имеющий богатый опыт любовных приключений, полученный ещё в годы его хиппования в Москве на Тверской под девизом: «Ни Бога, ни семьи, ни государства!»

В те его студенческие времена улица Горького (Брод) была в Москве поистине домом свиданий под открытым небом, куда сходились по негласной взаимной договорённости самые

смелые, отважно преодолевающие стыд, бравирующие своей раскованностью, превратившие её в орудие борьбы с целью «залюбить систему насмерть!» под распевы пронзительно-голосых жуков-ударников в «All needs you is love!» и слабенький душевный тенорок Скотта Макензи в «If you going to Sun-Francisko».

И двадцатилетний Вячеслав Ильич блистал там природной выправкой в клёшах от колена с алыми клиньями и с бубенцами на обшлагах ядовито-синей рубахи.

Девчонки подворачивались под статью – со своими знаками отличия в виде цветастых балахонов, пончо, с ткаными фенечками на запястьях и с твёрдым знанием основного правила для любой фемины, праздно гуляющей по этой улице: пришла – значит согласна, а свободные «хаты» всегда имелись у кого-либо из друзей в виде пригородных дач или квартир предков, уехавших в командировку.

Славным гулякой оставался этот Синий Че даже и в аспирантуре. И женитьба не выработала в нём строгого семьянина.

Ну, никак из его обзора не исчезали молодые красивые женщины помимо его обожаемой Гелочки.

Одно время он боролся с этим наваждением. Корил себя за невоздержанность, пытался перенаправить энергию в спорт, в сверхурочные, в конце концов в алкоголь, но опять и опять срывался, удивляясь, как он не замечает того решающего момента, когда происходит контакт и он захватывается чужой энергосистемой, а далее включаются законы физики и химии, неоспоримые и непреодолимые, что в очередной раз произошло и здесь, на отчине, в славном селе Окатове, где он в июне 1992 года проснулся в солнечной и до стерильности чистенькой комнате фельдшерского пункта (Леся оказалась местным медиком), посмотрел на себя в зеркало над умывальником, выпятил распухшую губу, попытался пошире раскрыть заплывший глаз, погримасничал и сказал с усмешкой:

– Ну, здравствуй, родина-уродина!

Не вылезая из постели, Леся спросила:

– Ты женат?

– Темнить не стану. А колец мы не носим. Мы с ней тогда анархистами были. До сих пор так и не сподобились. Глупость это. Лучше уж сразу кастрировать.

В это время на крыльце послышались торопливые шаги и в дверь постучали.

Вячеслав Ильич, будучи уже одетым, по-хозяйски отпер дверь в фельдшерском пункте.

Босоногая девочка подала ему свёрнутый листок:

– Вам телеграмма.

– А откуда ты меня знаешь, дюймовочка?

– Тётя Фиса сказала. Она сегодня на телефоне дежурная. По телефону только что передали.

– Просто МУР какой-то! – произнёс Вячеслав Ильич, разворачивая бумажку.

«Мама в роддоме скорее приезжай Варя».

Подумал: вот бы так быстро всегда всё решалось в этой области... Ночью в койку – утром в роддом...

Храбрился. Шутил.

Но по мере трезвения озадачивался, опять что-то вроде угрызений совести накатывало, так что даже жёлтый клетчатый плащ стал выглядеть на нём вычурно, по-клоунски.

– Убежал – даже лапки не пожал, – из своего уголка подала голос молоденькая фельдшерица.

– Ну, что тебе сказать, Леся! Ты – моя прелесть! Много у меня было, но такая глазастенькая – первый раз!

Она метнула в него подушку.

Он поймал, оглядел. Сказал:

– Я не прощаюсь.

Ответно запустил в неё и юркнул за дверь, исчез из её жизни, думая, что навсегда...

В автобусе – допотопном газике с выносной мордой капота, с никелированной штангой для ручного закрывания двери, Вячеслав Ильич уселся в задний угол и через открытое окно перед отправлением прослушал новости на столбовом радио – о начале забастовки шахтёров Кузбасса, о возвращении Ленинграду имени Санкт-Петербург, о провозглашении независимости Эстонии...

Никнул к окну, выворачивал голову пока проезжали «чёрный дом», о котором он ещё никак не мог сказать, что это – его дом.

И потом задремал с мыслью о необходимости снова вырваться из своей секретной лаборатории в Москве (пришлось ездить шесть раз), чтобы опять и опять кланяться служителям богини архивов Нефтиды в Поморском хранилище, стараясь теперь обойтись без ссоры, другим путём – с подношеньем различных подарков из столицы (духов «Наташа», конфет «Нюка, отними!», пудры «Лебяжий пух») для стимулирования дальнейшего поиска доказательств жизни на земле своего опального предка, для хождения с этими доказательствами по судам, для головолomных и весьма затратных встреч с адвокатами бесконечно длившегося процесса...

3

Звуки пианики вдруг начали приобретать радужную окраску, сообщая Вячеславу Ильичу дополнительный неизъяснимый подъём духа. Он ликовал, не подозревая, что эта добавка торжественного состояния, эти приливы вызваны, как выразился бы он сам, инфракрасными лучами, генерируемыми биосистемой по имени ВарВар – его дочери, приехавшей на подписание мирного договора с папой, только что ворвавшейся в квартиру (у неё, давно не живущей с родителями, оставался ключ).

В кожаной мотоциклетной куртке с заклёпками, в байкерских сапогах и со шлемом на локте матушку Ге тискала сейчас Варя, возбуждённая первой поездкой после зимовки на своём жёлто-голубом «Кавасаки».

Никакой шлем не способен был примять её причёску – сотни фиолетовых косичек на голове стремительно образовали шар, не требовалось даже взбивать.

В квартире распустился диковинный цветок с ярким женским лицом в центре бутона: губы с тёмной окантовкой, чёрные глаза и брови натуральной брюнетки, сила и молодость – невольное напоминание матери о возрасте и невозвратности женских преимуществ существования.

Варя в изнеможении упала на стул и из последних сил произнесла:

– Мамуленька! Чаю! Зелёенького!

И расслабилась во блаженстве.

Передохнув, спросила:

– А что папа? Всё сердится?

– Предательница, говорит. Из-за этого вашего острова.

– Что? Он на полном серьёзе? Ой! Какая глупость! Знаешь, мамуленька, у меня для него такой заказ есть! Андрей продюсирует фильм об Иосифе Бродском в архангельской ссылке. Нужна будет супермаска, чтобы как живой, а не как с Высоцким вышло. Нужен папин чудогель. Чтобы кожа на лице была как своя. Чтобы каждый лицевой мускул работал. Хорошие деньги обещали. Ты даже не представляешь сколько.

– У тебя хватит ума не говорить ему о деньгах? Потом скажешь, когда он сам спросит.

– Мам, за кого ты меня принимаешь! Или я его не знаю?

– Понимаешь, Варя, он сегодня получил ответ из Страсбурга...

– Опять этот дом, что ли?! Господи! Я теперь не знаю, говорить ли ему. Он же весь гонорар на этот свой дом ухлопает. И что, суд на его стороне?

Палец Гелы Карловны указал в сторону кабинета отца.

– Слышишь?

«Волынка» по-шотландски безумствовала.

– Да! Похоже, он достиг своей цели.

Музыка в кабинете затихла.

Варя вскочила со стула, глянула в зеркало и включила в себе весь ресурс дочерней любви, так что, казалось, в полутёмном холле стало светлее.

Когда Вячеслав Ильич с голубым конвертом в руке распахнул дверь кабинета, ему навстречу метнулась шаровая молния в нитях электрических разрядов.

Вячеслав Ильич почувствовал себя летчиком попавшего в грозовой фронт лайнера, у которого произошёл сбой в автопилоте, а на ручное управление он перейти не успел, – дочь обняла его и принялась клевать-целовать в плечо.

– Папуленька! Ты у меня такой красивый! Знаешь, ты сейчас похож на молодого Бжезинского!

– Хм! Прошлый раз я был похож на Бунина в эмиграции.

– Папуленька! Ты для меня – всё! Ты обобщённый образ героического мужчины старшего поколения!

Невольно подготовленный к капитуляции посланием из Евросуда, умиротворённый победой и как бы даже подкупленный государством – тебе Дом, а нам – Остров, он тоже обнял её и довольно чувственно, – с удовольствием надавливал на крепкое тело под кожаной курткой, вдыхал овевающую её свежесть весенних московских улиц и улыбался от щёкота жёстких волос.

На кухню они шли в обнимку.

– Мама сказала, у тебя всё получилось с этими судами? Как я рада, папуленька! Ты у меня герой реституции! Ведь это же впервые, чтобы такой особняк! Прецедент!

– А ты уже на своём Моте?

– Мотя классный, пап! Я его люблю.

На полпути к кухне Вячеслав Ильич был молча, тайно, из-за угла удержан за халат Гелой Карловной, вежливо принудившей его надеть джинсы, высохшие от пролитого чая.

В представлении Гелы Карловны супружескую интимность в виде голых ног непозволительно было демонстрировать перед другой женщиной. Именно другой, чуждой и даже враждебной женщиной казалась теперь Геле Карловне дочь, набравшая силу и мощь представительницы одного с ней пола.

На кухне место у Вячеслава Ильича было у окна и представляло собой старинную банкетку, обтянутую кожей с конским волосом внутри.

Он всегда садился именно там, будто в театральное кресло по билету и с таким чувством, что если он сядет куда-то ещё, то придут законные владельцы и попросят освободить, одной своей вежливостью устыжая его.

Вокруг стола располагались ещё диван и три стула.

И в отличие от педантичного хозяина его женщины при рассадке были совершенно недисциплинированы.

И так как исследователь был в Вячеславе Ильиче сильнее борца за историческую справедливость, не выключался ни на минуту, словно чутьё у зверя, то он давно приметил, что для жены и дочери с их природными соперническими наклонностями всегда было принципиально важно сесть по настроению, занять удобную позицию, будучи всегда инстинктивно настороже по отношению друг к другу.

Они всегда долго не садились, ожидая первого движения, как выхода из укрытия, капитуляции.

На этот раз не выдержала Варя, плюхнулась на диван, закинула ногу на ногу, выставив напоказ мотосапог изошрённой конструкции, с множеством застёжек, накладок, прошивок, и сама любуясь им.

Гела Карловна села в отдалении и вся подобралась.

Цейлонский чай пили из немецкого фарфора и с овсяным печеньем брянской фабрики.

Как бы оттягивая какую-то недобрую весть, женщины напористо болтали, отпускали шуточки, вообще – звучали.

Наконец Вячеслав Ильич произнёс:

– Ну, что же, дамы и господа, настало время деду Матвею свечку в храме ставить и ехать на родину новые замки врезать.

Стало тихо, словно кипящую воду сняли с огня.

– Наш «немец», надеюсь, выдержит полторы тысячи километров в оба конца. Смотаюсь по-быстрому. Застолблю.

Варя щёлкала застёжками на сапоге, ослабляя хват голени, а Гела Карловна смотрела, как она это делает.

– Возражений не слышу. В принципе, чувствую поддержку семьи. Варвара! Правильно я понимаю?

– Пап, ну святое же дело!

И опять застёжками щёлк-щёлк.

Вячеслав Ильич, нетерпеливо подрагивая ногой, кидал в рот печенюшку за печенюшкой. Наконец услышал и от жены:

– Где ночевать будешь? Дом, небось, не топлённый. Настыл за зиму. Подождал бы до лета.

– Единогласно! – бодрился Вячеслав Ильич – Благодарю, мои милые, за поддержку! Я ни минуты не сомневался.

Перекинув ногу на ногу, Варя взялась за второй сапог и сказала:

– Между прочим, Антошка тоже совершеннолетний.

Словно по команде Вячеслав Ильич схватил телефон и вызвал сына – так приходилось общаться с затворником на территории квартиры.

– Ну, давай спросим и его.

– Да, папуль! – послышалось в трубке.

Когда Вячеслав Ильич поинтересовался, поддерживает ли он восстановление прав на дедовское наследие, все услышали:

– Мне, в общем-то, по фиг, пап!

Вячеслав Ильич подытожил:

– С одним неопределившимся.

Тишина установилась содержательная, насыщенная тревогой и недоумением: то ли ангел пролетел, то ли демон.

– У нас даже фотографии этого Матвея... как его там? – нет. Он что, мне прадедушкой будет? Вообще, не представляю его, – сказала Варя.

– Увидишь дом – увидишь и деда, – сказал Вячеслав Ильич. – Запомни: Матвея Лукича! Увидишь дом – и представишь его ясней, чем на любой фотографии. Фотографии врут. Посмотри-ка ты на своего любимого Бунина или Набокова. Что бы ты сказала о них, не читая их книг? Один – высокомерный обедневший дворянчик. Другой – занудливый брюзга. Я уже не говорю о снимках людей более низкого ранга. Застывшие лица, вытаращенные глаза. Даже киносъёмка ничего не говорит о человеке, если этот человек не обладает даром сыграть самого себя.

– Кстати, о кино. Папуленька...

В установившейся тишине Варя продавila долгую паузу и продолжила сухо, по-деловому:

– Андрей Нарышкин продюсирует фильм об Иосифе Бродском. Нужна маска абсолютно живая. Особый гель. Не для отливки в форме, а для выращивания в колбе. И слой биоматериала, чтобы и гель и кожа актёра как бы срослись на время съёмок. Ты же делал что-то подобное для ожоговых центров? Меня просили поговорить с тобой.

Бесцеремонно свергли Вячеслава Ильича с горних высот родовой патриотики.

«Вот уж действительно мордой в грязь, то бишь в гель», – подумал он.

– Нарышкин – это тот самый?

Он знал о длительном романе дочери с писателем Нарышкиным, замелькавшим последнее время на экране телевизора в качестве весёлого провокатора, политического забавника, ставшего близким и приятным для Вячеслава Ильича в истории с «Островом» – именно он, Рыжий, первый произнёс в эфире на всю страну это слово – *аннексия*, так что Вячеслав Ильич теперь из чувства солидарности склонен был отозваться на его просьбу, что было бы невозможно «до того», ибо Вячеслав Ильич знал о его женатости, не мог представить его у себя дома и вообще даже рукопожатие с ним было для Вячеслава Ильича невозможно, хотя Ге и намекала о его скором разводе для последующего законного соединения с Варей.

– Ну, что сказать, – отодвигая чайный прибор и впадая в задумчивость, протянул Вячеслав Ильич и, как всегда в подобном состоянии, схватился одной рукой за шею.

Женщины перестали звенеть ложечками и тоже отодвинули чашки, наблюдая, как левая бровь у него поднималась, будто выражала тезис, а правая – будто противоречила, губы то выпячивались, то поджимались.

Он попытался управиться с вихрем чувств, упорядочить мысли, систематизировать их, ибо за несколько минут пережил и глубочайшую радость от победы в судебной тяжбе с государством, и пронзительную нежность от возвращения дочерней любви, и всплеск здорового тщеславия при известии о профессиональной востребованности.

– Ну, пусть скинут мне технические условия. Будем думать...

И опять в квартире Синцовых разразилось бурное природное явление – шквал, гром, молнии, когда Варя вскочила с дивана, бросилась целовать «папуленьку», и потом так же стремительно метнувшись в холл, исчезла из дома под грохот стальной двери.

Вячеслав Ильич ещё некоторое время посидел за столом, плаваясь от приятнейших чувств, а потом вышел из кухни на балкон и стал наблюдать, как Варя ловко садилась на блестящий байк, надевала шлем, краги. Вот заурчал под ней мощный мотор, способный унести десяток таких, как она, невесомых женщин, и, с нарастающим рокотом промчавшись на мотоцикле по двору, Варя скрылась, повернув на проспект...

К вечеру весеннюю испарину над Москвой прожгло сверху солнцем в нескольких местах, в том числе и здесь над Леоновским парком, над церковью Богородицы, над дымящим заводом «Х-прибор», словно своим дымом стремящимся снизу заткнуть этот просвет.

В яркости этого прожига на серой бетонной стене дома оказался особенно хорошо различимым белый халат Вячеслава Ильича на балконе.

Зоркий, всевидящий глаз таксиста Бориса, сидящего внизу у гаражей в компании дворовых людей, как называл их Вячеслав Ильич, углядел этот маячок на десятом этаже.

Таксист взвопил в рупор ладоней:

– Ильич! С тебя причитается!

Дружественная отмашка с «профессорского» балкона (белым флагом-обшлагом) дала повод мужикам для самых радужных надежд.

Когда Вячеслав Ильич вернулся в кухню, Гела Карловна загружала посуду в моечную машину, подолгу обдумывая места для каждой чашки, ложки, блюда.

– Ты будто в шахматы играешь, – весело заметил Вячеслав Ильич.

Она не поняла шутки и продолжила делать своё дело ещё серьёзнее.

4

...Женщина за рулём приятна на взгляд.

Милое личико, вправленное в волосы, своеобразно подстриженные, покрашенные и причёсанные, обрамляется кузовом автомобиля со всеми изгибами и впадинами изощрённого дизайна, со всем блеском окраски и сверканием хромированных рукояток, рамок катафотов, решёток радиатора, воспринимающихся элементами одежды женщины, до мелочей подогнанной, подобранной, примеренной, всегда неповторимой, хотя и изготовленной на конвейере, но непременно с особенкой, эксклюзивом: или с сердечком на дисках колёс, или с ресничками у фар, и уж обязательно внутри с мордочками заек на подголовниках кресел, с розовыми чехлами на спинках сидений, с висялками-куколками над рулём. Глаз не оторвать. Но лишь выедет к стоп-линии у пешеходного перехода женщина на мотоцикле, так всё внимание обращается на неё, хотя в снаряжении женщин-мотоциклисток разная дамская мишура напрочь отсутствует. Одежда у них исключительно строго кожаная и разве что сзади на шлеме приторочен лисий хвост и к заводской окраске бензобака добавлен символ байк-клуба, вот и все особые приметы.

В сравнении со звероподобным механизмом под названием «Хонда», «Ямаха», «Кавасаки» сами хрупкие тельца женщин на них, узкие плечи и своеобразный, очень ловкий, пригнанный хват ног непременно вызывают у соглядатаев гораздо более сильное чувство, нежели при взгляде на автомобилистку – какое-то особое уважение в смеси с умилением (кроме, конечно, женоненавистников, считающих, что баба за рулём – обезьяна с гранатой, а на мотоцикле тем более).

Бесспорно, женщина на мотоцикле, едущая даже на скорости потока, более привлекательна, чем в автомобиле, ну и конечно, чем на велосипеде, который кажется недостойным женщины по своей хрупкости и пронырливости.

(Автомобиль же, несмотря на свои удобства и размах, слишком укывист, женщина в нём будто в мусульманской абайе, обнаружена лишь отчасти).

А на мотоцикле она словно на породистом скакуне, вся на виду и царит.

Вар-Вар давно уже пережила период езды напоказ, давно перестала отмечать всякий мужской взгляд из окон машин, их заигрывание на остановках у светофоров.

И сегодня она вполне наслаждалась свободным полётом своего «японца» после зимнего автомобильного затворничества, ехала будто в счастливом сне по знакомому маршруту, и в те минуты, как за стеклом её шлема, кренясь то вправо, то влево, проплывали здания проспекта Мира с архитектурными излишествами середины прошлого века, она думала...

Впрочем, для начала надо сказать, о чём она не думала.

А не думала она сейчас, и вообще никогда, как и всякая женщина фертильного возраста, об уже свершившемся в её жизни и плохом и хорошем.

Не думала о голубых детских временах на съёмной подмосковной даче с гамаком или в черноморском Лоо, о первой влюблённости в популярного старшекласника, открывшего к ней дорогу другим парням и мужчинам.

Старалась никогда не вспоминать и о двух своих браках, по странной закономерности произошедших с «простыми рабочими парнями», хотя она всегда была окружена учёной, художественной молодёжью.

Даже о Рыжем – однокурснике из универа на журфаке – и их подъёмной, трепетной, настоящей любви в конце бешеных девяностых, о его отъезде собкором в Дублин и об одновременно случившемся – от отчаяния, обиды, назло – аборте «от него» не вспоминала Варя никогда, во избежание невыносимых мук (резала вены после проводов Рыжего в Домодедово).

Но всегда помнила Варя в последнее время и об этом думала она сейчас, проносясь на мотоцикле по проспекту в окружении сотен машин, о недавнем возвращении Рыжего в Москву в состоянии семейной разрухи с «какой-то полячкой» и в озарении любви к ней, Варе.

Об этом она начинала думать несколько раз в день, и в эту минуту, на стоянке у светофора, опять и опять нажимала в памяти на кнопку replay, чтобы ещё и ещё послушать слова этого самоуверенного нахала, когда он на Рождество позвонил из Дублина и несколько даже навзрыд произнёс: «Только ты... Какой кошмар все эти годы без тебя... Прошу, прошу, прошу...»

С такой болью говорилось, что она сразу поняла и поверила – это – настоящее, невероятное и долгожданное.

Подарок судьбы. Бонус. Счастливый билет для неё, уже и второй раз давно разведённой...

Приехав в Москву, Рыжий стал жить у неё, в однокомнатной квартире старинного дома на Сухаревке, обуреваемый молодой, свежей страстью, с лихостью врубившись в бракоразводный процесс, хотя и угнетённый неизбежным расставанием с сыном – нежным эльфиком польских кровей из сказок братьев Гримм и измотанный вживанием в новую для него редакторскую должность, добытую одним из членов клана Нарышкиных в Государственной думе...

На этой короткой стоянке у светофора пробегали также у Вари в голове мысли об устройстве московского жилья после развода «Андрюши». Если он отсудит у «бедняжки» хотя бы одну комнату, то они с ним сложатся и возьмут ипотеку на трёхкомнатную, лучше где-нибудь в башне на окраине, на последнем этаже, чтобы было видно леса и поля.

И сразу – перепланировку!

Расширение ванной до джакузи, ниша в спальне, камин в зале...

Когда, подкручивая ручку газа (байк словно огрызался), Варя принялась думать также и о том, что из этого особняка «дедушки Мазая» в далёком северном селе надо будет сделать поместье по типу Мишки Никиткова (у него тоже где-то на Севере, в дебрях, и это может стать трендом), то ей засигналили сзади – она проморгала зелёный свет.

В качестве извинений Варя пустила сигнальщику воздушный поцелуй и стремительно ушла в отрыв по широченному полотну свободного асфальта между гостиницей «Космос» и Рижским вокзалом, оставив позади в дымке бензинового выхлопа все вышеперечисленные мысли и отдаваясь теперь одной-единственной, захватывающей всё её сознание мысли, которой она была вся объята, как цветущее дерево – запахом, мысли, окружающей её как озоновый слой, за пределами которого, будто в безвоздушном безжизненном пространстве, погибало, становилось неинтересным всякое суждение, и эта мысль была о её собственной беременности – свершилось или опять мимо?...

Припарковавшись во дворе женской консультации на улице Гиляровского, она не преминула пробежать пальчиками по забору на пути к крыльцу и легкими прыжками через ступеньку в своём суперменском наряде скрылась за стеклянными дверями.

5

Оставшись дома одна, Гела Карловна на разогретую жаростойкую конфорку электроплиты насыпала истолчённых листьев зверобоя – такая у неё была курильница – и струю дыма начала ладонями нагонять на себя в область сердца, затем на лицо и вниз – к ногам, одновременно поворачиваясь, будто в каком-то ритуальном танце.

Всякая петелька её вязаного платья, завиток платиново-белых волос, каждая пора на коже и альвеола в лёгких впитывала и всасывала этот золотистый на солнце дымок, производя на Гелу Карловну воздействие, безусловно, дурманившее, так что очень скоро совершился у неё переход в другое измерение, даже и не в четвёртое, а неисчислимо многовекторное, что принято называть духовным состоянием человека, где правят бал неземные образы – химеры, демоны, привидения. Под действием упоительного дымка Геле Карловне привиделся этот Дом на таёжной реке Уме. Будто не она к нему идёт, а он, и едва ли не на куриных лапищах, и устраивается в ней со всем своим потрясающим содержанием, как заброшенный старый замок из страшной сказки или фильма-ужастика.



«Память стен и вещей» этого дома кинолентой протаскивалась перед глазами Гелы Карловны – слышался грохот сапог реквизиторов, шарканье изношенных лаптей несчастных воришек, гомон школьников, грубые шуточки конторских служащих, шорох мышей в опустевших комнатах, хлопанье двери на сквозняке.

Жуть и тоска подбирались к самому сердцу Гелы Карловны, лишали портновской радости «творить».

Как всегда во время таких приступов паники, по самым разным поводам и сейчас тоже, рука Гелы Карловны невольно потянулась к телефону. Она набрала номер своей исповедницы – отставной театральной актрисы драматического свойства, теперь, на пенсии, живущей в представлениях сугубо мистических, и через минуту, поудобнее зажав трубку плечом, не переставая простёгивать шитьё, она уже слушала эту восхитительную Виту Анатольевну с жадностью, меняясь в лице в диапазоне от просветлённой благодати до мрачного отчаяния, как, бывало, в молодые годы внимала она своему ненаглядному Че да и совсем ещё недавно.

Однако нынешней зимой как-то незаметно речи его перестали увлекать Гелу Карловну – то ли из-за повторов, то ли из-за того, что частенько велись они Вячеславом Ильичом под хмельком.

Мало-помалу стал требоваться Геле Карловне новый, мощный, здоровый, свежий источник духовного наполнения, коим и явилась Вита Анатольевна, пришедшая однажды для пошива платья типа «летучая мышь» и влюбившая в себя эту чистенькую, прозрачную по своей сути женщину-швею с высшим медицинским образованием.

Артистизм природный и профессиональный помог Вите Анатольевне обворожить (вор) расслабленную в безвластии Гелу Карловну, знания оккультные вскружили голову бывшего психиатра, открыли ей бескрайний, сказочный свободный мир представлений и идей, принесли вожделенную радость и спокойствие.

Это была вполне себе супружеская измена, и даже с элементами любви, но лишь – в духе.

В части же плотской почти уже нечему было изменять по причине всё более редко случавшегося телесного общения между Гелой Карловной и Вячеславом Ильичом.

Хотя и он, старый грозный муж, оставался ещё бодрым, деятельным и забавным, но в сравнении с Витой Анатольевной все-таки проигрывал, опять же во многом за счёт её лицедейского опыта.

Вита Анатольевна была дама яркая, нервная, красивая (ученики её курса звали её Кармен), но со слишком крупными чертами лица. Она эффектно выглядела на сцене и несколько уродливо в маленьких ролях в кино.

Зимой ходила Вита Анатольевна в неизменной мутоновой шубе до пят и в меховом треухе, завязанном под подбородком.

Летом – в вызывающе нелепых платьях (фасона баллон, поло, мешок) и в шляпе с гнездилищем бумажных цветов, иногда производя впечатление районной сумасшедшей.

Большой знаток фен-шуя, жилище своё она содержала, вопреки наставлениям этой философии, в крайнем беспорядке, зато как поклонница Корбюзье, по его наущению вывесившись однажды из окна своей комнаты в коммуналке на проспекте Энтузиастов, длинной малярной кистью покрасила наружную стену розовым, вокруг окна, куда доставала рука, чтобы, как писал её почитаемый француз-архитектор, «издалека, с улицы, все видели: здесь живет человек, который проводит различие между собой и соседями, подавленными скотами!»

В речи её было что-то гипнотическое, чары проникали даже сквозь сито телефона, обязательные интонации бархатного грудного голоса опьяняли.

– Ангел мой! – говорила она врасстяжку, «бросая зёрна чистого искусства в невежественные массы.» – Половина вашей жизни проходит в общении с астральным миром, но вы забываете об этом! Ваши тревоги понятны, ибо вы окружены знанием прошлого и будущего, дорогая моя. Смело принимайте всё новое – оно только кажется таковым. Вооружитесь философией нулевой толерантности и – вперёд, ангел мой! Иначе вы попадёте под действие синдрома разбитого окна. Как, вы не знаете, что это такое? Если в доме долго не ремонтируется даже одно разбитое окно, то происходит вспышка тотального вандализма, разбиваются остальные. Начинается погром. Поезжайте быстренько в это ваше Бурматово-Дурматово, вставьте в своём дворце стёкла и затем выкиньте все старые вещи из дома. Если на чердаке найдёте рваный башмак, приколотенный к стене, срывайте его немедленно и сжигайте. Не забудьте и про эмоциональный хлам. Зажгите пучок лучин и пройдите с факелом по всем помещениям...

Наставления мудрой подруги Гела Карловна спешно записывала на выкройке, приходя постепенно в привычное состояние жены, супруги, пребывавшей в растерянности и дождавшейся наконец решения повелителя, что в общем-то полагалось бы сделать с ней мужу, если бы меж ней и Вячеславом Ильичом, как уже говорилось выше, в последнее время не образовался вакуум, ещё не опасный для совместной жизни, но всё-таки веющий холодком с финиша.

Последние наставления властной дамы (в напоре и мощи Виты Анатольевны было что-то не женское) вытекали из законов домоустройства древнекитайского толка, а именно «бережно относиться к „йен“ и никогда не иметь в жилище срезанные цветы. Обязательно занавешивать на ночь окна для сохранности „ци“».

«Немедленно по заселении почистить дымоходы, а все лампочки прикрыть абажурами...»

Закончив разговор с наставницей, Гела Карловна вставила в подсвечник бамбуковую палочку, пропитанную ванильным благовонием, и влезла на стул, чтобы по наказу влиятельной подруги тотчас зажечь курение под образом Ганеши – слоника мудрости в гирлянде жёлтых орхидей с пробирками питательного раствора на концах стебельков.

Губы Гелы Карловны шевелились. Она жмурилась, блаженствуя, и шептала мантру о сбережении жилища:

– Ом... Шрим... Хрим... Клим... Глаум... Гам... Ганапотайе... Вара-Варада... Сарва... Джанам-Ве...

Часть III Трасса М8

*Мальчик на автозаправке
Залил бензин в «Мерседес»,
К рублику просит добавки:
«Дяденька, дайте поесть».*

...

*Из «Мерседеса» ребёнку
Дали большой апельсин...*



Любимовка – Кащейково

1

Прошло три месяца.

В один из дней середины июня на стоянку музея-усадьбы Любимовка (Любилки-тож)², что в двадцати километрах от Москвы, въехал микроавтобус с непроглядными стёклами, чёрный, и при виде сзади – квадратный, получивший за этот «чёрный квадрат» прозвище «Малевич», и, словно глыба антрацита, заискрился от близости кипящего серебром вишнёвого сада за низеньким заборчиком (так и бывает с куском каменного угля при растопке).

Стенки авто раскалились на солнце, обжигали ладони выходящих ездовых.

Первым по-спортивному красиво выпрыгнул Андрей Нарышкин (Рыжий), высокий и гибкий, в белой пляжной рубашке с розовым распушенным галстуком (широченный «аскот»).

Для разминки, перед тем как подать руку выходявшей следом за ним даме, он успел присесть и сделать боксёрское движение, переросшее в учтивый жест, – из фургона, собирая в горсть безмерно длинное платье с нагромождением воланов и буклей, степенно выступила Вита Анатольевна, покрытая мужской белой шляпой с чёрной лентой на тулье – «траур по несбывшейся Офелии».

Она медленно опустилась на колени и поцеловала мраморную крошку «священного места».

– Здесь был Он! Боже! На этом крыльце Он пил кофе по утрам. По этой тропинке ходил к реке с удочкой!..

За ней из бездны «чёрного квадрата» проклюнулась и материализовалась ножка Вари в сандалии, обвитая верёвочками до колена, – выпорхнула и сама Варя в короткой юбочке и огромных стрекозиных солнцезащитных очках.

Она смело перелетела прямо в охапку Андрею и, сидя у него на руках, прихлопнула рот ладонью, удерживая смех, вызванный патетическим поведением отставной актрисы.

Будущий муж опустил её на землю, чтобы помочь выйти будущей свекрови Геле Карловне (брючный костюм, бейсболка с надписью «Kurgus-13»).

Вполне самостоятельно из кабины, с водительского места вывернулся сам команданте Вячеслав Ильич Синцов в кроссовках и шортах, одновременно всовывая бледные жилистые руки в рукава джинсовой жилетки-разгрузки с множеством карманов.

– Антон, ты чего там застрял? – крикнул Вячеслав Ильич сыну в глубь салона. – Антон!

– Да! Да! Именно Антон! Антон! Антон! – эхом отозвалась Вита Анатольевна, не поднимаясь с колен. – Божественные звуки! Я готова повторять как заклинание – Антон! Верю, дух его здесь, в ароматах этих вишен! Пойдёмте скорее!

Она простёрла руки, теперь уже за помощью для вставания.

Расторопный Нарышкин помог ей подняться, а Гела Карловна подала влажные салфетки, и Вита Анатольевна принялась чистить колени, без стеснения задрав подол до бедра.

Под всхлипы и сморкания сентиментальной Виты Анатольевны все двинулись по дорожке, утопая в пене будто бы недавно залитого пожара, и остановились перед деревянным двухэтажным барским домом, уснащённым балконами, галереями и эркерами в духе дачной архитектуры серебряного века.

Раскинув руки вширь, Вита Анатольевна начала монолог:

– Неужели это я? Мне хочется прыгать... А вдруг я сплю?!..

² Бывшее имение К. С. Станиславского, где в 1902 году А. П. Чехов начал писать «Вишнёвый сад».

Пока она по памяти читала текст гениальной пьесы, Вячеслав

Ильич, знаток древесины до мельчайших её частиц – целлюлозинок – строгим оценщиком двигался вдоль стены исторического строения, оглаживал брёвна, постукивал кулаком и в одном месте даже перочинным ножичком отковырнул щепочку, понюхал и перебил Виту Анатольевну:

– Простите, а когда это было здесь написано?

– Бог мой! Это было вчера! Только что! И это никогда не закончится! Никогда! – воскликнула актриса (бывших актрис не бывает) и продолжила выступление.

После чего Вячеслав Ильич обратился за хронологией к жене, но и Гела Карловна, как оказалось, тоже не придавала значения таким мелочам, как дата создания сценического шедевра, помнила только образы этой пьесы, из них с наибольшей отчётливостью гувернантку-фокусницу (по впечатлениям детских посещений театра с родителями). А меж тем уже дуэт звучал под стенами музея – одновременно с декламацией Виты Анатольевны начал громко разговаривать по мобильнику Андрей Нарышкин, всё внимание его переключилось на звонившего ему адвоката бракоразводного процесса, и Варя, не желая быть обнятой бездушно, выскользнула из-под его руки, пошла по аллее в глубь вишнёвого сада, внюхиваясь в тонкий запах (вовсе не «компотик», как в духах «Сеггу»; куда же девается вся эта прелесть в парфюме?), фотографируя ветки, будто бы обсаженные роями белых пчёл, и себя (самострел, селфи, себяшка), облитую этой девственной чистотой.

Вдруг из боковой аллеи, залиvisto смеясь, выскочил мальчик-шалун в картузике и косоворотке с вышитым воротом, убегающий от родителей, и – прямо к Варе, в попытке спрятаться за ней. Ребёнок обнимал её, тыкался мордочкой в живот... Кровь прихлынула к лицу Вари, ударила в голову, на мгновение она даже как будто лишилась сознания и, после того как мальчик исчез, долго ещё стояла в аллее, пораженная глубокой переменой в себе: «Господи! Что это было? Знак?...»

К ней приближался Нарышкин.

Он был мрачен.

– Заседание опять перенесли. Она в Польшу уехала. А скорее всего, врёт.

Варя, что называется, и бровью не повела. Стояла будто вновь родившаяся, сама не своя. Нарышкин что-то ещё говорил, но она не слышала, словно в тумане двигалась по аллее к музейному дому на звук хорошо поставленного голоса Виты Анатольевны – актриса теперь скандалила с привратником, требовала пустить её внутрь, перечисляя свои регалии, а охранник объяснял, что в доме ремонт, экспозиция в запасниках, везде пыль и мусор.

– Ну, так позвольте же мне, дайте же мне хотя бы на руины взглянуть! Каждая пылинка в этом доме священна для меня! Дайте же мне надышаться атмосферой этого дома!

Её долго всей компанией уговаривали, и она согласилась отступить только после того, как решено было сделать общую фотографию на крыльце.

Кликнули Антона.

Расселись.

Чизз...

Театр одного актёра, однако, на этом не закончился. Уже встав на подножку микроавтобуса, в оглядку, Вита Анатольевна разразилась заключительным монологом:

– О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад!..

Гела Карловна любовно подталкивала подругу внутрь, и конец монолога смазался.

Попинав колёса, Вячеслав Ильич сел за руль.

Нарышкин сел в кабину рядом с ним, чтобы немного побыть одному, остыть, обдумать новизну положения после известия об отсрочке суда по разводу.

Разъединение с ним совершенно не опечалило Варю, как это произошло бы ещё полчаса назад.

В салоне она с поджатыми ногами поуютнее уселась в кресле и принялась гонять картинку на экране планшета, – сознание её была поражено видением розовощёкого мальчика в картузике, в ушах звенел его счастливый смех, несмотря на то, что рядом скулила Вита Анатольевна, ворковала утешающая её Гела Карловна, а в динамиках грохотала академическая классика в рок-обработке (по просьбе Антона).

2

С обочины Вячеслав Ильич долго встраивался в плотный поток машин – невдалеке оставленная Москва изливалась авто как прорванная плотина.

Вячеслав Ильич, склонный обмысливать и формулировать каждую новую ситуацию, думал теперь, что такая езда совсем не похожа на передвижение в личном транспортном средстве, а скорее напоминает пребывание в поезде с невидимой сцепкой.

«Свобода передвижения здесь крайне относительна», – думал он.

Давя на педаль газа, Вячеслав Ильич возвышался за рулём «Малевича» над окружающими его приземистыми хэтчбеками, универсалами и седанами – в жёлтой бандане на седых волосах, с бородкой, похожий на бывшего пирата, надменный и насмешливый. Левый локоть философствующего шофёра, опаляемый солнцем (односторонний загар – примета дальнотойщика), был обёрнут мокрой тряпкой от ожога, сизые волосы на груди в распахе жилетки колыхались на ветерке, словно ковыль.

Дорога вскоре расширилась, прибавилось скорости, поток машин разрешился и, по наблюдениям Вячеслава Ильича, законопослушности водителей, происходившей от вынужденной сплочённости, как не бывало, верх стала брать индивидуальность, и езда превратилась теперь в один из способов самовыражения, проявления натуры, в борьбу за лидерство.

«Участники движения» вдруг перестали с почтением поглядывать на Вячеслава Ильича как на ветерана, принялись сжимать дистанцию чуть не до касания, сигналить Вячеславу Ильичу сзади и фарами, и гудками – «прочь с дороги!», а обогнав, показывали факи средним пальцем или, выехав вперёд, резко тормозили, грозя разборкой за неуступчивость, и потом вдруг срывались с места для демонстрации невероятного слалома.

В молодые годы Вячеслав Ильич и сам был не прочь посостязаться в вождении, но сейчас, за рулём тяжёлого чёрного «Ниссана» ничего подобного позволить себе не мог, только криво ухмылялся и с досады бил кулаком по рулю.

Он встроился в колонну грузовиков и ехал в этом кортеже, как в броне, «как у мамы в люле», пока перед Сергиевым Посадом вовсе не рассосалось и появилась возможность немного расслабиться, обозреть текущие окрестности и проникнуться миром Божиим, колыханием грандиозных зелёных полотнищ, только издали кажущихся лугами, а вблизи оказывающихся питомниками кустов и всякой прочей сорной растительности и вызывающих у Вячеслава Ильича такое чувство, будто он попал в ранний послеледниковый период, когда здесь вот так же поднимались первые леса. Теперь тоже не видно было ни изб, ни пашен, ни стад, ни силосных башен, только этот кустарник до горизонта и разбросанные в нём тут и там редкие хребтины – остовы брошенных деревень, похожие на обломки разбившегося при падении небесного града Китежа.

Лишь в придорожных сёлах с подновлёнными церквями и с кулками клубники на табуретках у обочин ещё теплилась жизнь, бабы-торговки сидели в тени под тополями, но и здесь не видать уже было ни коров, ни овец, разве что какая-нибудь костлявая коза с ошейником на привязи щипала траву вдоль дороги, и среди этих пустырей гладкое, ухоженное шоссе под колёсами микроавтобуса Вячеслава Ильича, раскрашенное белым, жёлтым, красным, с подстриженными газонокосилками полосами отчуждения, казалось дорогой для себя, как опять

же подумал многомудрый Вячеслав Ильич, – «вещью в себе», красивой заплатой на ветхом рубище страны.

3

Спуски на трассе стали такими крутыми, что при нырке в них исчезало небо из вида Вячеслава Ильича, будто в яму летел его «Малевич» (скорость 120-130-150), жутко, а всё-таки жаль было тормозить, невесомость подступала, эйфория дороги, а на переломе вдруг вдавливалось в сиденье, утихали и мотор, и музыка, словно от удара по голове чем-то тяжёлым, – от перепада давления, и потом уже только небо и было видно впереди – разливалась перед глазами бескрайняя жиденькая голубизна.

Сжимая руль словно силомер в парке отдыха, Вячеслав Ильич сливался с автомобилем, чувствуя острую вибрацию колёс и досаду на себя за невозможность противостоять азарту гонки – дальше мысли о рискованности, возможного лишения врученных ему драгоценных жизней близких людей дело не шло, и он укорял себя за эту слабость.

В низине, в холодке оврага раскрепощался и потом уже всё время подъёма использовал для высказываний, чтобы на очередном перевале вновь умолкнуть, кинувшись в пике, предотвратив возможность длить беседу Нарышкину.

С горки на горку – и они довольно быстро освоились с убеждениями друг друга, способами осмысления, привычками и привязанностями к тому или иному видению мира.

– Мне ближе старый добрый механицизм от Галилея до Дюринга, нежели популярная нынче пассионарность Гумилёва, – говорил Вячеслав Ильич, включая пониженную скорость на подъёме. – Пассионарность – в точном переводе значит «одержимость». Оголтелость. Это как-то мне не очень по душе... У меня инженерное образование, немалые познания в биохимии, это тоже накладывает свой отпечаток...

– Ну, и как, интересно, вы с позиций вашего механицизма объясните явление наподобие добровольного ухода какого-нибудь парня на войну за «Остров»?

– Конечно, я несколько старомоден, – отвечал Вячеслав Ильич, – но и в вашем случае законы химии и биологии могут помочь в понимании сего прискорбного факта. Генетика! Сначала депрессия. Как результат – метилирование головного мозга. Затем желание убить себя или быть убитому. Это болезнь.

– Как цинично вы о святых порывах.

– Мистику я не приемлю, дорогой Андрей Васильевич, – Вячеслав Ильич впервые назвал его так – с отчеством и ему сразу стало свободнее в обращении с ним в этом вынужденном тесном соседстве. – Точные науки дают точный ответ. Всё остальное – декоративная зыбь, кокаин для жаждущих.

Когда проезжали село на высоком холме с гигантским храмом, никак не соответствующим ничтожному количеству имеющихся здесь теперь прихожан, сработал роуминг и подал голос телефон Нарышкина – в кабине минивэна зазвучала джазовая тема старика Джоплина – пляска на клавишах из регтайма «Кленовый лист» в бешеном темпе.

Нарышкин слушал, взбадривался, усаживался основательно, по-деловому.

Поговорив, смазал пальцем по экрану мобильного:

– Главреж звонил. По сценарию вопросы.

Извернувшись на сиденье, он заглянул в салон и поманил Варю.

Женская головка просунулась в кабину, круть-верть из стороны в сторону, то на «папу», то на «Дюшу», колыхая сотней колбасок-дрэдов.

– О чём будем сплетничать, милые мужчины?

Было весело смотреть на неё и отцу, и «соломенному» жениху.

– Надо усилить диалог Иосифа и Марии в третьем эпизоде. Актёр в нём «провисает». Какую-то отсебятину предлагает. Нужно профессионально.

– Актёры всегда капризничают, Андрюша! Нельзя идти у них на поводу.

– Ну, там, видимо, вообще тупик. Завтра в Окатове дождь обещают. Им сегодня надо сцену снять. Ты вариант набросай. В Ярославле найдём вай-фай, перешлём.

Варя нехотя убралась на своё место. Ей вдруг стало холодно, хотя кондиционер в салоне не работал, чтобы, не дай бог, не заморозить драгоценных слизняков в аквариумах «господина профессора». Подрагивая от озноба, она надела курточку, укутала ноги пледом, тяжело вздохнула и принялась ждать того момента, когда с самого дна сознания поднимутся-таки видения будущего фильма, озарит придуманными лицами, станут слышны их разговоры, нахлынут драматические страсти.

Для себя эту сцену в будущем фильме Варя называла «декабристской». К ссыльному поэту³ приезжает подруга. Оказывается, она полюбила другого.

Он в ватнике и резиновых сапогах везёт её на телеге со станции в свою избушку.

Далее у Вари в планшетнике стал набираться такой текст...

*Поэт: Глаза твои изумрудные ничуть не потускнели. Вот бы ещё
наслушаться твоего шелестящего голоса.*

*Она: Проверка звука, да? Как на эстраде перед выступлением – раз, раз,
раз...*

Поэт: Считай до ста.

Она: Всего лишь? А потом что?

Поэт: А потом, собственно, и начнётся самое главное...

Фуга Баха в барабанной обработке с массой перкуссии и с солирующей трубой придавала содержательности скоростному передвижению минивэна среди задичавших лугов, навевая настроение бодрой мессы.

Звуки музыки подавляли все иные чувства, и хотя Варя смотрела в окно и глаза её были широко раскрыты, но взгляд остановился, бесконечное мелькание усыпляло – из Вари словно воздух выпустили.

Она перевела глаза на страничку в планшетнике, перечитала, принудив себя вдуматься, однако образы всё ещё оставались за решеткой текста, в кабале шрифта, нечего было и мечтать, чтобы на ум пришли какие-то более сильные строки.

Как всегда в такие моменты, подступило отчаяние и досада – зачем она согласилась делать сценарий! Ах, да, семейный бизнес! Интересы семьи требуют. А где она – семья? Вилами на воде писано. Возьмёт да и вернётся к своей полячке.

Всё может быть.

Варе вспомнился их первый разрыв, когда она полоснула ножом по запястью, – и эта боль неожиданно наполнила её силой, бойцовой страстью (тут кстати ещё пахло в открытое окно микроавтобуса дымком костра), и вот она – тайна художества – Варя принялась печатать:

Пауза

*Рысит понуря лошадка. Колёса телеги катятся по мягкой глине. Они
оба закуривают. Она продолжает зажигать спичку за спичкой и бросать на
дорогу. Одна спичка падает на сено в телеге. Сено вспыхивает. Поэт едва
успевает скинуть пылающую охапку на землю. Затоптыкает.*

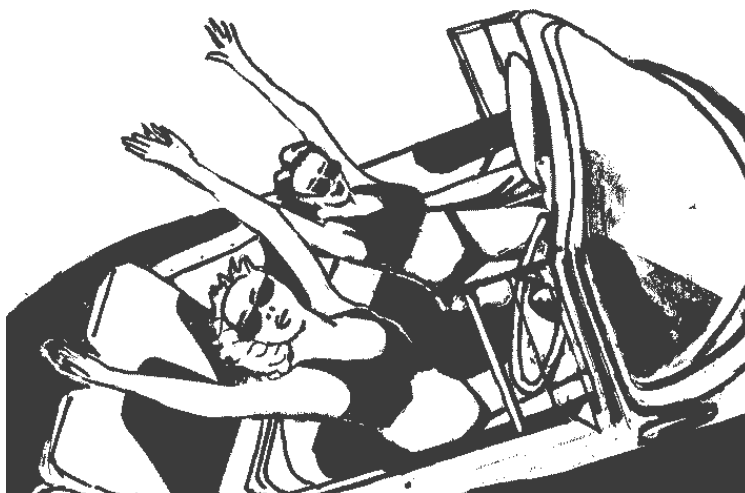
Она: Зачем? Не надо. Так красиво горит...

³ Прототип И. Бродский в 1964 году. – А. Л.

4

Горки закончились многокилометровым хребтом, словно крепостным валом, видно стало в обе стороны до горизонта, и слева вдаль блеснуло Плещеево озеро. На этом открытом перегоне кузов минивэна оказался насквозь просвеченным солнцем и можно было разглядеть силуэты пассажиров. Было видно – на пролёт, – как Варя самозабвенно печатала, а «две кумушки» впереди, стиснувшись, по очереди тыкали пальцами в раскрытую книгу

«Даты и судьбы» и записывали что-то каждая в свой блокнотик, вычисляя ни много ни мало день смерти Виты Анатольевны – актриса отважно предоставила собственную персону для эксперимента, на всякий случай объявив ложный год рождения, всё равно что назвала бы намеренно неправильный номер своего телефона для нежелательного знакомого (позвонив, он обязательно попадёт к кому-то другому).



Простодушная Гела Карловна и мысли не допускала о подтасовке фактов и очень переживала за подругу, а главное, за себя – каково же это будет знать о дате смерти такого чудесного человека – и готова была отказаться от вычислений.

Вита Анатольевна настаивала, преувеличенно геройствовала, как солдат перед атакой, зная, что все патроны у противника холостые. Она громко, по-актёрски, как бы с вызовом судьбе произносила такие слова, как «первое количество», «самообладание сочетаний», «второй ряд количеств».

В результате построения «матриц и мандал» у наших нумерологов получилось, что смерть Виты Анатольевны должна бы наступить ещё три месяца назад. Даже эта невозможная, невероятная дата, выведенная дрожащей рукой Гелы Карловны в блокнотике, заставила её побледнеть, сжаться, плотно сцепить руки под грудью, а Вита Анатольевна ничуть не смутилась, объявила расчёт ошибочным и предложила Геле Карловне начать всё сначала. Если Гела Карловна трепетала, паниковала, то Вита Анатольевна, склоняя её к дальнейшим мистическим изысканиям, успевала и шляпу поправить, и полюбоваться своими туфлями, и поглядеть в окно.

На одной из стоянок у светофора под цепким взглядом Виты Анатольевны оказался кабриолет с нарядными дачницами. В открытом салоне две молодые дамы, одна из которых была за рулём, смеялись, обнимались и потом к тому же стали целоваться.

– Фу, противные! – воскликнула Вита Анатольевна, в острстку безбожницам постучала по стеклу и рассмеялась вместе с ними.

– Противные! – со вкусом, совершенно без осуждения и естественного отвращения прокричала она в щелку и, заметив, как при виде целующихся женщин смутилась Гела Карловна, что называется, поймала кураж.

Полуобернувшись к Геле Карловне, она схватилась рукой за переднее кресло, как бы отсекая путь к отступлению, замыкая её в узком пространстве, принялась рассказывать про ужасные автомобильные катастрофы, смакуя кровавые подробности – раздробленные черепа, разорванные напополам тела, сгоревшие заживо младенцы, запах трупов на хранилище искорежённых автомобилей у постов дорожной полиции.

И свою белую шляпу не забыла включить в действие – надвинула на глаза для устрашения, и время от времени издавая рычание, не переставая сжимать пространство вокруг слушательницы, вплотную придвинулась к ней, перешла на свистящий шёпот при изложении истории убийства двух мужчин – их расчленении ревнителями истинного православия: части тел содомитов разложены были вдоль обочины вот в этих самых местах у деревни Кащейково (вёрткая мадам успела прочесть первый попавшийся на глаза указатель) и, ещё круче нависнув над Гелой Карловной в образе Фатума, почувствовала наконец, что «порвала кулисы».

Убедившись в совсем ещё неистраченной силе своего таланта, она рассмеялась, кинулась на Гелу Карловну с объятиями и поцелуями, тоже оказавшимися отнюдь не вполне только утешительного свойства (по смутным ощущениям Гелы Карловны).

После чего вдруг поднялась с места и, словно объявляя антракт в концертном зале, во всю силу голоса торжественно нараспев изрекла:

– Санитарная пауза!

Минивэн остановился.

Вита Анатольевна вышла из машины опять же только после того, как подоспел учтивый Нарышкин – за ручку – и даже из нескольких шагов до лесных кущ умудрилась создать мизансцену: удалялась гордо, величественно, небрежно, как тросточкой, покручивая зонтиком, так что от неё глаз было не оторвать; глядели ей вслед все спутники кроме Тохи, валявшегося на заднем сиденье.

Взявшись за организацию «перекусона», Гела Карловна с жадностью погрузилась в привычное состояние домохозяйки, завернулась в кокон семейственности, оказавшись в спасительном и привычном мире доброй матушки-кормилицы, радовалась избавлению от кошмарных и восхитительных наваждений в захвате обожаемой подруги – разливала чай из термоса по шатким стаканчикам, создавала что-то подобное застолью, стала центром придорожного летучего пикника у раскрытых задних дверей микроавтобуса, где Вячеслав Ильич проверял самочувствие своих слизней в аквариумах, а Нарышкин, прочитав вставку в сценарий, настраивал Варю на дальнейшую доработку текста, ненавязчиво просил «загрузить ещё пару вариантов».

Той порой из лесу вышла Вита Анатольевна, она что-то выкрикивала и поднимала над головой огромного плюшевого орангутанга.

– Мой Кинг-Конг! Я присела, гляжу – а он на меня смотрит из кустов, подглядывает, бесстыдник...

Едва уговорили её оставить найдёныша, не тащить в салон.

Решающим доводом стали слова болезненно чистоплотной Гелы Карловны: «Он наверняка блохастый, Виточка».

Получив свой стакан чая с овсяным печеньем, Вита Анатольевна уселась на место и принялась трапезничать – алчно и самозабвенно.

5

Сезон летней миграции околесованных был в разгаре. Навстречу, на юг, ехали семьи, молодёжные компании, отважные одиночки.

Из окна мчащегося антрацитно-чёрного минивэна Вячеслав Ильич провожал взглядом приткнувшиеся на обочине легковушки и публику вокруг них в курортных одеяниях.

Кто на капоте устраивался с бутербродами, кто на багажнике, редко встречались путешественники основательные, запасшиеся раскладными столиками. Но даже и такие закусывали непременно стоя, заодно разминая затёкшие ноги.

Иные возились с домкратами, меняя проколотые колёса.

Можно было увидеть и неудачников, копавшихся в моторе, которым не позавидуешь: если поломка серьёзная – до ближайшего сервиса более ста километров и роуминг на нуле.

Выходи с поднятым тросом в руке, вызывай о помощи к водителям грузовиков.

Махали и Вячеславу Ильичу в надежде на мощный дизель его «Ниссана», – он давал отмашку, извиняюще крутя головой, и пролетал мимо, досадуя на собственное жестокосердие, оправдываясь перед неведомым бедолагой множеством пассажиров в салоне, изношенностью двигателя, хлюпающей коробкой передач, – вроде веские причины, но всё-равно на душу ложилась тяжесть, мысли о подленьком покусывали, да и расчёт приходил на ум: сам так же будешь когда-нибудь бедовать, просить помощи, а получится как в песне – в той степи глухой умирал ямщик...

Хотя не по зимникам где-нибудь он в тундре ездит, авось и обойдётся...

Вячеслав Ильич бил ладонью об руль и думал: «О'кей! Но оказавшись в подобной безысходности, по крайней мере и я, не тормознувший сейчас, не буду считать мимоезжих своими должниками, всё будет по-честному. Ты никому не должен и тебе никто ничего не должен... Свобода, брат, свобода, брат, свобода, – напевал Вячеслав Ильич и скалил зубы в какой-то мстительной улыбке, распрямлялся и всё поддавал и поддавал газу в поршни арендованного у кинокомпании „Фильм продакшн“ старенького „Ниссана Турино“».

В какой-то момент в зеркале мелькнуло лицо дремлющего в углу кабины Нарышкина, и мысли Вячеслава Ильича понесло в другом направлении.

«Третий зять! – подумал он со вздохом. – Хороший парень... Из поколения пепси. Схваченный за горло госструктурами. Желанно подставивший им это самое горло. Ещё весной был пацифист, а теперь – патриот государственного разлива. Чарующая сила бюджетных отчислений!...»

А первого зятя Вячеслава Ильича звали Олег... Москвич... Оператор на военном заводе, в белом халате управлял каким-то сверхточным станком и имел присущее рабочему классу чувство основательности и некую особую мужественность, какой не наблюдалось даже в самых сильных характерах молодых интеллигентов из среды Вар-Вар.

Всегда первым, вопреки положенному, Олег подавал руку Вячеславу Ильичу (рукосуй), чем немного смущал его, был чрезмерно развязан и грубо шутил – в общем существовал в рамках классического образа молодого советского гегемона, и вдруг исчез, испарился вместе с закрытием, исчезновением в девяностых годах и всяческих заводов – исчез посредством «дури» в прямом и переносном смысле – как наркотиков, так и примитивных душевных устремлений, исчез в вихрях пыльной и голодной свободы налетевшей на страну будто бы из времён сотворения мира, пройдя известный путь: биржа труда, взлом ларька, год тюрьмы, мелкое дилерство, бесконечные «ломки» и – конец в реанимации, в объятиях «ласкового убийцы» – гепатита С.

...Второго зятя звали Саша, и находился он в статусе «гостя столицы» – тоже тип своего времени, когда в стране сняли барьеры передвижения и в Москву хлынула провинция, и своя, российская, и прочая азиатская.

Саша был, даже можно сказать, ласковым человеком, всегда улыбался, всегда с подарками, пылко, самозабвенно помогал и на кухне Геле Карловне, и в починке машины Вячеславу Ильичу, был услужливым и хотя работал электриком на строительстве «Москва-Сити», но не имел ни чёточки грубоватости рабоче-крестьянского племени.

На этой основе вдруг открылся в нём талант бармена, нашёл он своё природное применение за стойкой большого ресторана недалеко от Красной площади – время было ещё разгульное, вольное, и питейные заведения в Москве росли как на дрожжах.

К сожалению, он не смог строго придерживаться принципа – кто наливает, тот не употребляет...

После смены приносил Саша домой полную сумку продуктов и отменного спиртного, устраивал невиданное застолье с наслаждением, передававшимся и Вячеславу Ильичу, от природы тоже склонному к подобному проведению времени.

Но если Вячеслав Ильич в этот период избыточного поглощения дарового алкоголя продолжал расти и приближался к серьёзному открытию в биохимии, то его юный друг через год потерял место. Сначала перебивался заштатными барами, потом работал в автосервисе, на покраске машин. Пары ацетона изгонял из себя водкой и вдруг буквально – пропал.

Обзванивали морги, подавали в розыск – как в воду канул, так что даже разводиться Варвар пришлось по причине «длительного безвестного отсутствия супруга».

«Хорошие были ребята», – думал Вячеслав Ильич, отрешённо скользя взглядом по белой разделительной линии шоссе, – воображаемому бетонному барьеру, как научили его воспринимать эту черту между жизнью и смертью когда-то давно в автошколе...

И вот теперь Андрей, интеллигент, гуманитарий, политик, дворянская кровь, третий зять, хотя ещё и не законно, но тоже надёжно захваченный силой притяжения звезды по имени Варя, обречённо вращающийся вокруг неё, бедоносица, вынужденный жить с грузом развода, в ожидании неминуемой потери сына...

«Конечно, – думал Вячеслав Ильич, – все эти горести частично смягчаются так называемым счастьем обладания и, наверное, точно подслащают его жизнь и заживляют раны, которые и вовсе могут затянуться со временем, если у них будут дети, но коли в двух браках у Вари детей не получилось, то что ждать от очередного, тем более, что ей уже за тридцать. Могла бы уже девушка и пригасить пыл, перестроиться на карьеру, путешествия, лёгкий флирт, если бы, конечно, человек был властен над собой, а тем более женщина, которая, вообще, и в гроб-то желает лечь красивой, привлекательной...»

Всю свою сознательную жизнь Вячеслав Ильич не переставал изумляться бесподобной силой женственности и не оставлял надежды постичь её природу. Только с появлением на свет Вари приоткрылась ему эта тайна.

С присущей наблюдательностью исследователя он растил её – с пелёнок до студенчества, как на подопытной изучал все этапы становления этого всемогущего существа по имени *женщина* – её обречённости на самосжигание в горниле человеческого воспроизводства.

Помнил, какой страх он испытывал, когда она подростком уходила из дому, в «миру» неизбежно попадая в сотрясающие этот самый мир вибрации эроса, под удары демонических сил секса, пока однажды его естествоиспытательский взор не был поражён почти мгновенным преобразованием девушки в женщину, из существа страдательного перешедшего в разряд повелительный, когда уже не ей следовало остерегаться грубого мужского захвата, а парням бежать от её «мягкой силы», хотя по своему опыту Вячеслав Ильич и знал о бесполезности таких попыток для мужчины и, много перевидав, пережив, передумав, давненько уже перестал счи-

тать любовь чем-то восхитительным и безусловно ценным – может ли быть восхитительной фатальность?

Которосль – Красный ткач

1

Только замаячил впереди щит бензоценника, так и повело «Малевича» по белым линиям на асфальте будто по стрелкам железной дороги – словно нюхом чуял – к ярмарочным шатрам «ЛУКойла», – повело сначала в правый ряд шоссе, потом, сразу за супер-прайсом – в «карман» и за лежащим полицейским уже ползком, из последних сил – к соскам бензоколонки, после чего в путешествии определился такой расклад: кому купаться (река Которосль под горой), кому молиться (рядом путевой храм Богородицы, такой же пластиковый, как и заправка), а кому солярку в бак (в бок) заливать.

Три женщины, казалось, только что бывшие несовместимыми и по возрасту, и по профессии, и по семейственности, и по норову, пропитанные постулатами всех мировых религий, ну чистые космополитки, вдруг не сговариваясь, дружной скромной стайкой направили свои стопы к церкви Непорочного зачатия и стали даже с виду (ход, улыбки, жесты) похожими друг на друга – едва ли не сёстрами.

И не потребовалось им при входе никаких разъяснений служки о дресс-коде: кусками ткани обернула брюки Гела Карловна, Варя же – свои ножки в античных ремешках. Но, конечно, при этом каждая выбрала в ящике по собственному вкусу – разной расцветки. И головное убранство переменили – у Виты Анатольевны вместо шляпы оказался скромненький синий платочек, а Варя свою папаху из дредов укротила белой косынкой.

Во время этого ритуала и на души всех троих снисходило нечто общее, припоминалась трагедия двухтысячелетней давности, разливалась в душе горечь несправедливого распятия...

Потеря самости длилась недолго. Всего минуту побыв в состоянии единоклубной плоти, сразу по входу в пространство великого таинства они всё же не преминули тихонечко разбредись в поисках каждая своего лучика духовного, своей иконы – образа понятного и давно знакомого, которому хотелось отдать внутреннее предпочтение по каким-то своим безотчётным мотивациям.

Виту Анатольевну привлёк необычно пышный наряд неведомой ей святой на громоздкой иконе в боковом нефе. Она надела очки и разобрала надпись по краю – «парастась». Подумалось, как много светскости в этой Параскеве Пятнице! Видать, писалось по заказу какой-то неисправимой модницы. Это было так понятно Вите Анатольевне!

Актриса невольно стала креститься, возводить душу до такой степени умиления, чтобы напоследок захотелось поцеловать край парусны.

Грешница, она, в своём коммунальном одиночестве, и покуривала, и вино попивала, и понимала сейчас, что не очень-то была достойна милостей Целительницы, но всё-таки хоть и робко, но просила о здоровье, вздыхала и кланялась в своём синеньком платочке и очках, похожая на милую провинциальную старушку.

Одна из трёх частей огромного складня в правом приделе притянула Гелу Карловну.

Она не ошиблась, перед ней в печали и чистом девстве предстали Вера, Надежда, Любовь и матушка их София.

Вспомнились Геле Карловне свои сёстры, одной уже не было на этом свете, а другая доживала дни где-то во Флориде в фанерном домике «комьюнити».

Вспомнились горькие годы детства в сибирском изгнании, возвращение в Литву на руины, спасение и возрождение в общежитии мединститута в Москве, в замужестве с «синим Че»...

...Пришлось бейсболку поворачивать козырьком назад, прежде чем приложиться губами к образу...

А Варю поразила, слева от дяконовых дверей, местнотимая Богоматерь Толгская. Христосик у неё на руках сучил ножками, как бы хотел взбежать вверх по ней, полететь, отчего глаза святой светились слёзной радостью, и глаза Вари тоже наполнялись влагой одного свойства с Богоматерью.

В это время отрок-служка закончил псалом шестого часа, из алтарных врат вышел дякон и принялся читать тропарь, аккомпанируя себе звяканьем цепочки на кадиле. Запахло ладаном и почему-то бензином, видимо, из открытых по случаю жары дверей храма – от заправки.

Дякон излагал свой текст грубым мужицким рыком, по силе своей как бы даже опасным для хрупких стен храма, и в Вите Анатольевне, чуткой на сценическую несообразность, тотчас природная насмешливость взяла верх над переживаниями вселенской скорби. Подсмотрев, как дякон морщится, кривит рот на басовых низах –

«хлопочет лицом», как бы сказал любой театральный режиссёр, Вита Анатольевна на цыпочках неслышно подошла к Геле Карловне сзади и – ах, кощунница! – шепнула ей на ухо:

– Гелочка, а не кажется ли тебе, что поп в храме Непорочного Зачатия – это всё равно что бородастый банщик в женском отделении...

Гела Карловна вздрогнула и принялась изо всех сил накладывать на себя крестные знамения, чтобы удержать улыбку...

Оставаться в церкви, будучи сорванной с чувственных высот в мирское легкомыслие, Гела Карловна посчитала нечестным и, наскоро поставив свечку на канон, быстро вышла из святилища вон – в гул автомобильной трассы, под свод неподдельно божественных небес в лоскутах июльской испарины.

Следом за Гелой Карловной пробкой вылетела из церкви и Варя, промокая платочком слёзы смеха.

В отличие от своих «овечек» сама насмешница появилась на паперти строгая, даже суровая, как истинный пастырь.

Пока она надевала шляпу, взбивала фонарики на плечах, расправляла пышные вытачки на юбке, Гела Карловна и Варя, отсмеявшись, уселись на скамью недалеко от храма на самой кромке берега – одна за вязаньем, другая за планшетником, поглядывая время от времени на резвящихся «их мужчин». (Нарышкин и Тоха вспарывали чёрно-зелёную воду болотной реки классическим кролем.)

Недолго позволено было им любоваться на игрище – Вита Анатольевна подошла и всей своей ширию решительно заслонила от них этих «представителей животного мира» – ничто уже не могло загасить в ней артистического пламени, и в самом деле чувствовала она сейчас, что весь мир – театр.

Она сгребла со своей глубоко декольтированной груди тяжёлый нательный крест и, выставив его перед слушательницами, начала еретическую речь о женском священничестве, всё более захватывая внимание спутниц.

Стала толковать о том, что церковь в Британии разрешила возводить женщин в сан священников ещё двадцать лет назад и сегодня там их насчитывается до двух тысяч. Их коллеги, мужчины, страшно недовольны, учиняют раскол и теперь линия фронта мировой эмансипации пролегает в районе Гринвича, победа непременно будет одержана нашими нестигаемыми англосаксонками, ибо самое первое евангельское откровение слетело с уст женщины.

– Вот скажите, лапочки мои, кто первый возвестил о воскресении нашего Спасителя да так горячо убеждал всех в этом величайшем таинстве, что весь свет уверовал?

Почти одновременно обе «лапочки» на скамейке по-школьному выставили руки торчком и, едва не в один голос, радуясь своему знанию и возможности высказаться, выпалили:

– Мария!.. Мария!..

В ожидании ответа двигавшаяся было вдоль скамьи с поднятым, как для прицела, крестом Вита Анатольевна резко развернулась, раскинула руки вширь и будто в помешательстве, зажав глаза, стала выпевать с подвывом имени других библейских вождинь:

– Олдама-пророчица Иосии, пророчица Мариам – сестра пророка Моисея, Дебора – четвёртая судья Израиля, Прискилла – ученица Павла, дьяконисса Фива...

Варю разобрал смех. Она, в тон исповедницы, продолжила:

– ...Воительница Вита, дочь Анатолия, попесса московская!..

Сказала и, как бы устранившись гнева лекторши, прикрыла лицо планшетником.

Шуточка дочери заставила Гелу Карловну нахмуриться и незаметно глянуть на воодушевлённую подругу – не обиделась ли.

Не из таковских была Вита Анатольевна!

За годы театральной карьеры прошедшая через горнило сотен спектаклей, будучи и ошикана, и освистана, она обрела бесценный опыт, нарастила толстую кожу и потому отнеслась к словам Вари как к неожиданной реплике из зала, с дерзкой галёрки – и на грубость не сорвалась, и не подхватила остроу, чтобы нейтрализовать её соль, проглотив, а вскинула руку, как боярыня Морозова на картине Сурикова, и, грозя насмешнице гневом высших сил («Боже мой, что?! Она это и вправду?» – подумала Варя, выглядывая из укрытия), полностью преобразилась в необузданную проповедницу, возомнила себя едва ли не на амвоне этого Зачатьевского новодела, похожего на блестящую новогоднюю игрушку в задичавших ельниках, а и правда, как бы попесса была там к месту!

И Варе в этой человеческой пустыне, в пространстве, пребывающем в первобытности, «баба на амвоне» вовсе и не показалась бы чем-то сверхъестественным, ибо очевидным было для Вари, как ничтожно мало оставили здесь по себе в сухом остатке (как бы выразился её учёный батюшка-химик) десятки, сотни тысяч обитавших в границах этого прихода за пятьсот лет русских человеческих существ, мужчин – сильных, смелых, деятельных. И как стремительно (за каких-то пятьдесят лет) исчезнувших, будто испарившихся – ни птицы столь решительно не меняют мест своих гнездовий, ни рыбы – нерестилищ; не усыхают с такой скоростью ни Арал, ни Каспий, не тают ледники, а русские человеческие скопища вместе со своими бородастыми батюшками отлетели к небесам обетованным ракетоподобно, так же, как и какой-нибудь «Протон» с близлежащего космодрома, оставив по себе на память только сброшенные стартовые ускорители из алюминия – эти невесомые храмы в идеологическую нагрузку к бензоэправкам...

Раздосадованная приближением обнажённых купальщиков и необходимостью оборвать просветительскую речь, Вита Анатольевна запустила руку в сумочку за сигаретами.

Рыжий с Тохой и на гору взбежали соперничая, в одних плавках выскочили перед Витой Анатольевной молодые и сильные – залюбуешься, но она демонстративно сняла очки и закурила, бросив «пастве» напоследок примирительное:

– Главное, девочки, чтобы ваши душеньки были довольны!

– А где же они у нас, Вита Анатольевна, эти самые душеньки располагаются? – поддразнил её Нарышкин, вытираясь необъятным махровым полотенцем с надписью «Шеф рулит».

– Пожалуйста, солнышко моё, пожалуйста!..

И, пыхнув дымком, Вита Анатольевна прочла из Тютчева на память:

– *О, вещая душа моя!.. О, как ты бьёшься на пороге как бы двойного бытия!..* Джентльмен удовлетворён?

– Это что-то значит для здорового живого человека, Вита Анатольевна!.. Боюсь, ТАМ стихов не читают...

– Язык есть Бог! – выпалила Вита Анатольевна.

– Ого! Это вы уже из воскрешаемого нами Иосифа?

Вита Анатольевна с задором процитировала на хорошем английском:

Time that is intolerant
Of the brave and the innocent,
And indifferent in a week
To a beautiful physique,
Worships language and forgives
Everyone by whom it lives;
Pardons cowardice, conceit,
Lays its honours at their feet.⁴

Из-под полотенца глухо отозвался Нарышкин:

– И всего-то прощает только трусость и тщеславие?

В пику прозвучало от Виты Анатольевны:

– А что бы вы ещё хотели? Глупость? Наглость? Ваш яд? Что ещё?...

2

Разнять спорщиков (они мило враждовали с самого начала поездки) по силам было лишь Варю. Она обхватила Нарышкина за миг до того, как он успел скинуть с головы полотенце, и повела его вслепую, как бы с мешком на голове, по тропинке вдоль берега.

– Бодливые барашки! Ни на минуту нельзя оставить, – ворчала Варя.

– Куда ты меня ведёшь?

– Похищение! Похищение!

Ответно и в Нарышкине взбурлила игривость – на свой лад. Одним движением он накрыл полотенцем Варю и в образовавшейся палатке на двоих полез к ней под кофточку. Варю передёрнуло:

– Какой ты холодный!

– Сейчас я докажу тебе обратное!

Она отбивалась:

– Андрюшенька! Милый! Это какое-то садо-мазо получается. Не надо, прошу тебя...

Полотенце превратилось в ширму, когда Нарышкин вздумал отжимать трусы. Его обнажённое тело, ещё с весны несколько раз протянутое сквозь трубы соляриев, доведённое до кондиции молочной бронзовости в стиле публичных медийных политических фигурантов его уровня, сейчас, насыщенное травяным настоем лесной реки в свете первозданного полуденного солнца, представляло собой нечто будто бы даже съедобное – последний элемент в наборе искусств для первобытной Евы. А для Вари на этом берегу реки со странным незапоминающимся названием этот физический Нарышкин стал вдруг посторонним – просто мужским ню на хорошем снимке на каком-нибудь вернисаже.

Когда-то приводящие её в трепет и возбуждающие глубинные, вулканические желания узлы косых мышц живота «Мартышкина», его твёрдокаменные на ощупь фасции на бёдрах (для написания серии медицинских статей Варя в своё время прошла краткий курс медсестры) сейчас не только не вводили её в трепет, но навевали скуку.

Он прыгал на одной ноге, тряс перед ней внушительным «хозяйством», а её в ступор вводила мысль о своём равнодушии к этим дикарским пляскам.

Она чувствовала, что с ней что-то произошло, и пока что она не могла сформулировать ничего более внятного, как мысли о завершении какого-то периода единения между ними.

⁴ Время нетерпимо К храбрости, невинности И быстро разрушает Всяческую красоту. В то же время Оно боготворит Язык И прощает всем, кто им жив, Прощает им и трусость, и тщеславие, И венчает их головы лавром.

И – о, какой ужас! – он, в трусах и с полотенцем на плечах шагая рядом с ней к заправке, щёлкнул по корочке планшетника у неё в руке и, говоря о последних изменениях в сценарии, словно эту её смутную мысль озвучил:

– Сено! Огонь! Ну да! Любовь сгорает, только пепел по ветру летит... Понимаешь, символ слишком открытый... Тоньше надо, тоньше.

– Ну, куда же ещё тоньше, Дюшенька (слышалось как душенька)? Ну, хочешь – тучка на груди утёса-великана? Хризантемы в саду, которые давно уж отцвели? Старый дуб на пути князя Болконского в имение Ростовых...

– Знаешь, не надо меня провоцировать на тест о символах утраченной любви. Хочешь побороться? Загибай пальчики, а лучше записывай как на студенческом семинаре... Тетрадь открыта? Карандаш в руке? Поехали. Символами угасающей любви в мировом искусстве являются... Лебедь. Мечеть Тадж-Махал. Факел в руке Купидона. Мотылёк. Тающий снег. Увядаящая червона рута... А ты, подруга, для нашего фильма что-нибудь новенькое придумай. Сроку тебе – десять минут.

Он насильно вытянул из руки Вари планшетник и, сев на скамью, воскликнул:

– Ого! Здесь уже вай фай ловит!

Она попыталась заглянуть в экран, чтобы удостовериться.

– Без подсказок! Думай! – потребовал он.

– И кровать, на которой мы любили... – процитировала Варя, сдерживая слёзы.

– Старо! – отрезал он.

– Ну, нет больше у него никаких таких символов! – дрожащим голосом, подсмаркиваясь и ёжась от внутреннего оледенения, прошептала Варя. – У него (Бродского. – А. Л.) какие-то сплошные медитации...

Это слышали все.

Тема захватила.

Стали высказывать каждый своё об убывающей любви.

С разбитым хрустальным бокалом сравнила такую утрату Вита Анатольевна...

«В этом есть что-то от осеннего похолодания», – сказала Гела Карловна...

«Как в страшном сне – горная дорога, жмёшь на педаль тормоза, а машина юзом, юзом», – донёсся из-под капота голос Вячеслава Ильича, проверявшего щупом масло в моторе.

А Тоха бросил походя:

– Печалити!..

3

Во всеобщем молчании разбрелись кто куда.

За столиком придорожного кафе в прохладе кондиционера устроились Варя с Нарышкиным.

– Ого! А в Дублине сейчас дождь!



Он придвинул к ней свой стул, чтобы смотреть вместе, вынудил её впериться в картинку с веб-камеры в реальном времени (или хотя бы изобразить смотрение) – на бар в далёком Дублине в старинном квартале с блестящей от дождя брусчаткой, слушать речь проходящих дублинцев, доносящуюся из бара песню, кажется группы «Zombie», и Варю – дитя интернет-культуры – уже совершенно не удивляло, что она, сидя на автозаправке в двухстах километрах от Москвы, словно в большую подзорную трубу видит жизнь человеческую в городе на острове в Ирландском море, слышит певца в баре, разбирает слова: «It's the same old theme since 1916» («Это та же старая история со времён 1916 года» – песня о ирландском восстании столетней давности).

Как бы в одно ухо Вари влетал Дублин, а в другое – гомон сидящих в кафе потных замученных водителей российской глубинки, парней в шортах и майках с надписями «Остров наш!», «Русские не сдаются», «С нами Бог» и девиц – «Брюнетки правят миром», «Сексом дружбу не испортишь», «Я фея!»...

Она видела, как двери бара в Дублине для её взора медленно перекрывал пивовоз, нагруженный сверкающими бочками, похожими на снаряды крупнокалиберной гаубицы, – и в то же время свет в окне этого кафе «Которосль» застил подъезжающий фургон Ространса.

Под веб-камерой на перекрёстке Дублина девушка кричала кому-то напутственно:

– Meet in the evening!⁵

А от кассы в кафе доносилось:

– Сто солярки и титьку кваса...

Если что и удивило Варю, так это то, как умилённо вглядывался в экран планшетника Нарышкин, топал ногой в такт тамошней песне и глубоко, порывисто вздыхал.

Варю словно током ударило: «Господи! Может, у него там кто-то остался!»

– Вот снимем фильм и поедem в Ирландию! – провозгласил он как о деле решённом.

– Это, пожалуйста, без меня! – вырвалось у Вари.

– Ну, не на пээмжэ, а так – на месяцок.

– Не нажился ещё там?

– По ихнему пиву соскучился.

– В Москве же полно этих «темплов». Кстати, как переводится этот «тэмпл бар»?

– Храм пьянства... Пивная часовня... Выпивка – это и в самом деле у ирландцев как вторая религия...

⁵ Встретимся вечером!

- Будто у нас этого добра мало...
- Это угол Флит-стрит и Тэмпл-лэйн, – указал он на видео в планшетнике, и лицо его опять расплылось в мечтательной улыбке. – Видишь, какие камни в тротуаре. Им тысяча лет!
- Сходи поностальгируй на Красную площадь, там тоже брусчатка.
- А эти узкие улочки, тротуар без поребриков, чтобы машины могли спокойно разъехаться... А эти люди... Представляешь, там все мужики под два метра!
- И все такие же рыжие...
- Кстати – точно! Я там за своего бы сошёл на сто процентов, если бы не акцент... Никак не мог избавиться. И по левой стороне ездил тоже не вполне уверенно...

4

В это время недалеко от бензозаправки «Которосль» на солнечной поляне среди молодых прозрачных ёлок собирали шершавые земляничные ягоды Вита Анатольевна и Гела Карловна. В своей длительной нагнутости и округлости женщины напоминали два расписных воздушных шара.

– Заметь, Гелочка, – доносилось из-под одного мини-монгольфьера, – как ловко мы сложены для собирательства. Попой вверх – это наше! Ни один мужик не пересилит нас в наклонке. Они чуть что – сразу вприсядку, а то и на коленки. Тело женщины – это совершенная, абсолютно самодостаточная форма человеческого организма на планете Земля. Мужчина – результат какой-то родовой травмы. Ой! А как они бесятся, если заговоришь с ними об этом!

Неведомыми путями мысль театральной собирательницы пришла к такому выводу:

- Знаешь, если бы Варя была моей дочкой, я бы ни за что не разрешила ей... с этим.
- У неё уже времени не осталось выбирать, капризничать. Ребёночка хочется. Да и я – двумя руками. Запах младенца – самый лучший в мире.
- Ах-ах-ах! Эта милая детская отрыжка! Этот поносик!.. Мастит!..
- Ребёночек – это хорошо. А лучше два или три.
- Лучше ни одного!..

Некоторое время они молчали, и в Геле Карловне неожиданно поднялась из глубин сознания её психиатрическая суть, о которой она и думать забыла в последние годы, наполнив душу милой сердцу эзотерикой.

- Синдром эмоционального выгорания, – произвольно произнесла она вполголоса.
- Что ты сказала? – переспросила Вита Анатольевна.
- У тебя синдром одиночества.
- Ой, Гелочка, вот только не надо ко мне со своей медициной. Обыкновенная бабская история. Мама со мной хотела аборт сделать, но папа её уломал – ему спасибо, а маму я долго понять не могла, пока сама не залетела. На втором курсе в массовке снималась в экспедиции на Волге. На неделю дали командировочные. В каком-то амбаре поселили нас человек двадцать девок и парней за перегородкой. Я теперь даже не помню, как фильм назывался. Круглосуточное веселье – это тебе не главная роль какая-нибудь с заламыванием рук, с полным перевоплощением, – сплошное дуракаваляние, всем по двадцать, лето, река, восходы-закаты. На стогу сена под звёздами трах-тарарах! И готово. Он не то чтобы испугался, а сразу – давай поженимся. Такой был благородный, совестливый по молодости лет. А мне замуж совсем не хотелось. Вот тогда я маму и простила. А потом поняла ещё, и почему у нас с ней холодные отношения были всю жизнь. У меня тоже двое сыновей, и я с обоими рассорилась. Так, перебиваемся иногда. Потому что оба – из-под палки. По настоянию мужей. Они прямо загорались: рожай! А мне не хотелось. Особенно второго, когда уже знала, какая это каторга. Я через забор прыгала, отвар пижмы литрами пила... Вот есть изнасилование первичное – я так его называю, – когда ты мужика не желаешь. И есть вторичное – когда не желаешь рожать, а при-

ходится... Ну, у всех, конечно, по-разному. Сколько девок с нашего курса, вот так же залетев, потом стали примерными бабами: дом, семья, кухня, дети, муж... Легко расстались с мечтами об артистической славе. А мне мама с детства вбивала в голову, что я суперталантливая и весь мир будет у моих ног. Спонсировала меня, стимулировала всячески. А мою старшую сестру всегда за дурочку держала, мол, серая мышка. И вот в результате эта серая мышка нарожала детей, теперь у неё чуть не десяток внуков, она страшно довольна своей жизнью, но вот в чём вопрос, Гелочка: почему же я-то отнюдь не несчастлива, живя сама по себе? Знаешь, если меня никто не достаёт, в том числе и мои любимые сыночки, то я просто на седьмом небе. Вот сейчас, например. Жру землянику горстями. Еду в хорошей компании с лучшей подругой. Да пошли вы все!.. Мужу ведь что надо? Поесть да переспать. Даже, будь они неладны, утончённые натуры из среды так называемых наших деятелей искусств на поверку оказываются грубиянами и эгоистами. И через одного – извращенцы. Второй муж, знаешь, он оператором у Лиханова был, – так вот, он предлагал мне спать втроём с моей подругой. Да пошёл он!.. Десять минут секса я с любым вполне могла вытерпеть, а душевность находила только с женщинами. Второго сына я растила, после развода, вместе с Таней Н., которая у Борисова в этой комедии дурацкой, название забыла, главную роль играла, – потому что ребёнку нужна только нежность, только нежность! Но когда он подрос до четырнадцати, Тане стало опасно с ним. На том наша семья и закончилась. А в семнадцать лет он уже начал скандалы закатывать насчёт размена квартиры. Чуть не каждый день приводил новую девку. Свободу ему подавай! Повёрнутый оказался на этом деле. А теперь один живёт как сын. Плешивый, седой, злой. А второй сын, наоборот, четырежды женат. У него там куча детей, то бишь моих внуков, а я их знать не знаю...

Послышался гудок «Малевича». Воздушные шары на земляничной поляне сдулись и опали. Женщины выпрямились и пошли на зов. Неудержимо артистичная Вита Анатольевна намазала щёки ягодным соком и, уже занеся одну ногу на порог салона, в оглядку сказала Геле Карловне в завершение монолога:

– Женщин я понимаю со всех сторон, а вот педиков терпеть не могу! Фу!

И, по-клоунски показав язык помогавшему ей Нарышкину, скрылась во мраке «Малевича».

5

Смотреть в окно, наслаждаться дорожными видами, получать удовольствие от стремительного перенесения тела в пространстве и только – этого мало было Варе.

В вагоне, в самолете, машине она любила читать, тогда образы текстов наполнялись дополнительным художественным полётным эффектом, чувствовалось тоньше, полнее и глубже, как и сейчас, когда она листала и наклеивала зелёные стикеры на странички томика стихов прототипа героя её сценария и в недоумении скидывала брови и пожимала плечами.

«Где же тут любовь? Ни строчки про любовь в её настоящем понимании.

Всё опосредовано, загромождено отвлечёнными образами, ритмами, рифмами.

Ну, не лирик он! Есть только жалкие крохи какие-то...»



Варя зажмурилась и представила Марию (артистка Т. Панова в её фильме о Бродском). Вот она входит в избу изгнанника, обречённо садится на скамью у окна, а он (артист И. Глебов) расхаживает перед ней в фуфайке, громко стуча кирзовыми сапогами, с вечной сигаретой во рту.

Она: Мне кажется, ты слышишь не то, что я говорю, а только мой голос.

Он: Ты имеешь в виду голос сердца?

Она: Если бы!

Он: Слышу, милая! Слышу и его! Однако и почти ещё не отменили. Я получил письмо от Бориса...

Она: Это освобождает меня от объяснений.

Он: Откуда ты знаешь, что там написано?

Она: Дар ясновидения...

Варя полагала, что в данной ситуации всё, что когда-то в глазах Марии означало в нём признаки избранности – эта откинута назад голова, рассеянный взгляд, исходящий от него некий белый шум, – могло обернуться в этой сцене для неё, Марии, блеклыми сторонами заурядного характера – заносчивостью, упрямством, эгоистичностью.

Вряд ли ОН видел, во что она сейчас одета, образ её женский, личный, сказать даже, физиологический был в лучшем случае для него расплывчат, хорошо, что на голос он ещё реагировал («шелестящий...»).

Похоть, конечно, имела место как в особи детородного возраста («поставить раком...»), но пушкинских «маленьких ножек...» от него ждать было бесполезно этой Марии, – думала Варя. Ибо он по природе своей не был творцом любовной лирики.

У него и опыта соответствующего не хватало да и стремлений – во множестве переживать ощущения близости с женщиной...

В его арсенале по сути одна любовь за десять-пятнадцать лет, и в перерывах сотни стихов о чём угодно, но только не о любви (с небольшими прослоечками).

Бесспорно, он певец стихий и пророчеств в духе Исаяи!
Но не эротический.

В нём то и дело просматривается мальчишка. Он недалеко ушёл от девственника, хотя хочет казаться познавшим и мёд, и яд любви, весь спектр женской податливости – от неприкрытого желания привязать до экзистенциальной отстранённости, но всё это осыпается с него как шелуха.

Он целомудрен и скромен и, как все люди подобного склада, легко переходит черту «оседлости» и превращается в свою противоположность, разыгрывая из себя грубияна и циника, оставаясь в душе робким и тонким.

Сентенции, философемы в его поэзии, детали быта и – облака, облака... – это всё от вечно задранной к небу его гениальной головы...

Там где-то за облаками и женщины у него...

Она: Ты любишь только своё состояние кайфа поэтического... И ты не меня любил, а рифмы, которые рождались от моей близости... У тебя поэтический паралич... Ты бредишь метафорами...

Он: Ревность к музе... Это забавно...

На заднем сиденье проснулся Антон, кудлатая голова крутилась туда-сюда в попытке сориентироваться в пути.

– Варь! Где это мы?

Не только в пространственной прострации, но и во временной пребывала Варя – в полувековой давности, где-то в дебрях этих северных лесов... Нашёл у кого спрашивать – она сейчас с Поэтом в крестьянской избе...

– Тошенька, ты о нём имеешь какое-нибудь представление?

Даже без имени он понял, о ком она.

– Он у меня на рабочем столе. Он дал размер всему русскому рэпу. Клёвый чел!

И, напялив наушники, опять завалился на своё лежбище.

Листая томик, в разделе «о нём» Варя обнаружила несколько писем друга к Поэту времён ссылки.

Годилось для сценария.

Письмо Бориса

Из мрачной питерской юдоли
Пишу как Брут, ни дать ни взять.
В твоей архангельской неволе
Меня презреньем наказать.

Нет кар достойных в этом мире
Для тех, кто предаёт друзей —
Зарезать, утопить в сортире,
Повесить за ухо в музей,

Колесовать, побить камнями,
Главу бесчестну отрубить,
Четвертовать, в поганом чане
Смолой залить и вскипятить.

Всё мало! Вправе ты засранца
На дыбе сутками пытаться,
Проткнуть глаза, отрезать яйца,
В колодках намертво зажать.

Ещё, ты знаешь, было в моде
Ворюгу на кол посадить.
В мороз одеть не по погоде
И в проруби под лёд спустить.

Прииму всё, но не покаюсь —
Она не то чтоб хороша,
Она убийственна, как зависть,
И неумна, как пожар!

Тебе ль не знать Марии свойства —
В том омуте и ты тонул.
Твоё понятно беспокойство,
Точнее – бешенство акул.

Она пришла, она сказала...
Я промолчал, но был не прочь.
И заглянуть на дно бокала,
И воду в ступе потолочь.

Но получилось всё как в сказке,
Когда Иванушка взалкал —
Дурак! И вышло по-дурацки:
Козлом навек для друга стал.

И для неё – как безнадёга,
Как не доказанность дилемм...
Грех мужика лишь до порога,
Свой – баба тащит в подоле.

Она, поверив, воспарила,
Вообразила, что – жена,
А я – в цепях, седой мудила —
Законный брак, два пацана...

Она чиста, она в полёте,
Не будь ни резок, ни игрив.
Приветь её, коли не против
И коль она не супротив.

Понеже се тебе не в пору
И оскорбителен мой жест,
Я в заключение разговора
Скажу тебе без общих мест:

Мечом, недрогнувшей рукою
Не затевай крутой резни.
Мне поделом, того я стою.
Её хотя бы не казни.

Борис

10 июня 1964 г.

...Варя печатала в планшетнике:

«Осенняя дождливая ночь за окном деревенской избы.

Керосиновая лампа на столе едва светит. На кровати в углу спит Мария. Уронив голову на стол – Иосиф.

В лампе кончается керосин. Начинает гореть фитиль. Чёрный дым струится из стеклянной трубки...»

– Опять этот огонь, этот дым, – с досадой шептала Варя.

...Кстати и дождь подоспел.

В какую-то минуту пересеклись пути «Малевича» и тучи-шатуна, похожей на пришельца из космоса на длинных ногах-щупальцах; было видно и начало дождя, и его конец – как в автомойке вдруг стало темно, стёкла словно расплавились, и весёлое облачное божество ударилось в пляс на крыше, отчего Варю прошило ознобом, и она, захлопнув планшетник, принялась натягивать на себя плед.

Из водительской кабины выглянул Нарышкин и крикнул ей с весёлым вызовом:

– А в Дублине сейчас солнце!..

И показал язык «актрисе погорелого театра».

Ярославль

1

Плоское лобовое стекло «Малевича» по краям, в недостижимости стеклоочистителей, было усеяно останками разбившихся бабочек, жуков, слепней. А в чистой широкой части своей открывало возможность для обозрения холмистых просторов вблизи Ярославля, удивительно обихожённых, рассечённых даже и не шоссе, а автобаном почище подмосковного – следствие избытка битума на здешних заводах.

Город в дымке вставал вдали видением острова Буяна в царстве славного Салтана, розовый с бело-голубым, накатывался пряничными двухэтажными кварталами мещанской слободы, а за мостом, за стенами монастыря строго поглядывал оконцами церквей из обливного кирпича, светился золотом куполов, позванивал затейливыми частоколами литых чугунных оград, напрягал средневековой узостью улиц и казавшимся поэтому естественным отсутствием дорожной разметки, так что, высматривая траекторию движения, Вячеслав Ильич лбом касался окна, оправа очков постукивала о стекло.

«Только лишь следование ПэДэДэ, даже весьма строгое, ещё не обеспечивает комфортной езды, – как всегда философствовал Вячеслав Ильич. – Всё зависит от конкретных обстоятельств. Диалектика! Онтогенез и филогенез. Индивидуальное и общее – и их переход одно в другое... Общее ПэДэДэ, а индивидуальное – эти вот странные улочки...»

Тут он заметил вывеску на одном из особняков набережной – Ресторан «Белогвардеец» – и решительно повернул на стоянку возле этого старинного строения.

Шляпы и бейсболки, солнцезащитные очки, брючки и шорты, жилетки и галстуки – всё это весёлым ворохом высыпало из микроавтобуса и принялось острить по поводу названия. Стали спорить, правильно ли употреблены на вывеске «ять» и «ер». Многие путали даже сами эти старинные буквы. Спорили бессодержательно, но горячо, пока Варя не предложила справиться в Интернете. Все согласились, ринулись на запах кухни и под действием голода тотчас забыли про всякую грамматику.

Обед начался с тоста Вячеслава Ильича. Он говорил как с кафедры студенческой аудитории, по-профессорски игриво и с желанием понравиться. Стоял с порцией шампанского в бокале (0,35 промилле), который держал двумя пальцами – седой и жилистый в помятой дорожной рубашке и мешковатых штанах среди буйства гипсовой лепнины, золочёных кистей и зеркал банкетного зала с мебелью в стиле ампир (кресла на львиных лапах из красного дерева, облитых бронзой). На пергаментном узком лице Вячеслава Ильича с выпуклым лбом в белизне усов и коротко подстриженной курчавой бороды выделялись холодные голубоватые губы, а глаза были живые и весёлые в отличие от трагических на портретах царской семьи у него над головой...

– Друзья! Мы живём в славное время для русского человека. Славное не войнами и революциями, упаси нас Боже от такой славы! Живём во дни исторического слияния красных и белых кровавых телец нашей национальной плоти. Мы становимся свидетелями завершения витка мрачной истории страны с маршрутом, друзья мои: революция – экспроприация – реституция и, наконец, как свет в тоннеле – эволюция, эволюция и ещё раз эволюция!..

Вячеслав Ильич подождал, пока официант в ладной белогвардейской фуражке-«преображенке» с зелёной кокардой поставит перед ним блюдо со спаржей, и продолжил:

– И весьма символично, скажу я вам, наше присутствие в этом чудесном особняке, ибо именно здесь в восемнадцатом году располагался штаб знаменитого ярославского восстания! А в этом самом зале, где мы будем вкушать сейчас всяческие яства, благоухал летний сад,

знаменитый на всю Россию тем, друзья мои, что насчитывал сорок две особи кактусов самых различных пород. Представляете, сорок два кактуса в человеческий рост! И у каждого было своё имя на русский манер. Были «Три богатыря»: Алёша Попович – цереус из лесов Амазонки... Добрыня – геофер из прерий... Илья Муромец – могучий тритий из Египта... Судьба их ужасна, друзья мои. Победители вилами выкинули их вот в эти самые окна. Вилами – это, чтобы не уколоться...

Огурец, нанизанный на вилку, в руке Вячеслава Ильича стал прообразом той давней битвы с кактусами.

Все молчали в некотором ошеломлении.

Сладкий сок китайского салата на языке Гелы Карловны вдруг стал отдавать горечью алоэ, и душа её съёжилась, померк для неё блеск листьев за окном, вальсовое кружение от глотка вина сменилось подташниванием, как часто бывало с ней при рассуждениях супруга о предметах мрачных, не дай Бог кровавых, хотя бы даже и о вскрытии этих несчастных брюхоножек, живших у него в аквариумах.

Гела Карловна на выдохе издала чуть слышный стон, и чуткая подруга Вита Анатольевна, уловившая её страхи и потерянность, «грудью кинулась» на защиту, не преминула с издёвкой выпалить:

– Всякая ваша дурацкая война – патриархат в чистом виде!

– Чем же вам не нравится патриархат, милая актриса? – с изысканным ядовитым аристократизмом не замедлил встрять сидевший напротив Нарышкин, чувствуя, что сейчас вдоволь понаслаждется глупостями в исполнении человека сцены.

Вита Анатольевна с плеском поставила бокал на стол, и, стряхивая вино с руки на пол, как бы подстёгивая себя, накинулась на плейбоя:

– Для вашего патриархата мы всегда плохи. Согласилась на секс – шлюха. Отказала – стерва. Строишь карьеру – мужик в юбке. Домохозяйка – паразитка. Родила – клуша. Не родила – эгоистка...

Всем туловищем подался к ней Нарышкин и, тыча пальцем в её сторону, повёл ответный огонь:

– А ваш матриархат – вообще сумасшедший дом. Хочешь секса – насильник! Не хочешь – импотент. Сам себе готовишь и стираешь – баба. Не тащишь денег в дом – альфонс. Хочешь детей – седец безмозглый. Не хочешь детей – монстр...

Стук вилки Вячеслава Ильича по порожней бутылке утомил оратора.

– Друзья, давайте оставим этот извечный спор о том, кто лучше, мальчики или девочки. Ей-богу, как дети. Вернёмся к нашим кактусам, – сказал он.

– Что же вы предлагаете? Опять развести здесь кактусы? – с усмешкой теперь уже в адрес профессора высказался Нарышкин.

– Андрей Васильевич, безусловно! Вот именно! Скажу больше – восстановить из праха тех, кто погиб!

– Это уже фёдоровщина какая-то.

– Фёдоров был отнюдь не праздный мечтатель, Андрей Васильевич! Если мы можем влиять на воспроизведение потомства, то сможем научиться и воссозданию из праха, как он полагал. Да, он религиозный мыслитель. Но религия, как предчувствие, дала науке множество идей в разработку. В том числе и идею воссоздания человека из праха, почему бы и не этих героев Белой гвардии.

– С помощью вашего чудо-геля? Вырастим на морде какого-нибудь волонтера лицо Бродского, как в случае с нашим актёром, и вот вам восставший из праха!

– В том числе, в том числе, Андрей Васильевич. И термин для этого имеется. Биологическая реституция. Возвращение не только отнятых вещей, но и отнятых жизней.

– Это как же? Наскоблить достаточно слизи с ваших брюхоножек и вырастить какого-нибудь робота по образу и подобию адмирала Колчака, например?

– Это ещё называется активной антропологией, Андрей Васильевич.

– Не верю – как говорил один из кумиров нашей восхитительной Виты Анатольевны! – как бы передавая ей слово, сказал Нарышкин.

– Начните с женщин! – приказным тоном распорядилась Вита Анатольевна. – Я завещаю вам свой труп!

– Ещё неизвестно, кто кого переживёт, – буркнул Нарышкин. И продолжил громко: – Для эксперимента лучше всего подойдёт молодой экземпляр. В нём больше активных клеток. Молодой, свеженький покойничек. Как относится к этому поколение и-нет?

Он пригубил «Guinness» и скосил глаза на Антона.

– А нам по фиг! – с полным ртом картофельного пюре отвечал Тоха.

Все рассмеялись и принялись есть согласно «меню-банкет-стандарт». За бисквит с творожным кремом взялась Вита Анатольевна.

С утиной подкопчённой грудкой управлялась Гела Карловна. Буйволиным сыром закусывал Вячеслав Ильич. Говядину со сливами резал ножом Нарышкин. А Варя зубочисткой пыталась наколоть маслинку. Все следили за её попытками, как болельщики, а когда у неё наконец получилось, то она свою добычу вдруг оставила лежать в одиночестве на тарелке, а сама, опустив голову, быстро вышла из зала.

2

Варя передвигалась по коридору-вернисажу местных художников словно на бесшумном мотоцикле, не чуя ног, из всех органов чувств включённым оставив только зрение, и то в ничтожной мере, чисто ориентировочно, и думала...

Нет, опять же нельзя было назвать её крайнюю сосредоточенность задумчивостью, предполагающую предмет размышлений, логические ходы, систему доказательств – это было скорее состояние сомнамбулизма.

Она зашла в дамский туалет, проверила все кабинки и выбрала крайнюю с окном и частью подоконника, куда она поставила сумочку и принялась копаться в ней. Выложила планшетник, сборник стихов Бродского, долго порхалась в насыпи мелочей как в морской гальке, пока наконец не нашла флакончик с заветными тест-ленточками.

В ожидании «результата анализа» присела на подоконник и стала глядеть в окно.

Ресторан «Белогвардзец» – этот белый двухэтажный особняк боярской эпохи – стоял на таком высоком берегу, что Волга отсюда, из окна туалета, выглядела даже несколько жалкой, а суда на ней сквозь листву прозрачных лиственниц казались ёлочными игрушками.

Находясь всё в том же состоянии отключённости, бессознательности, Варя, однако, остро чувствовала, что и вода там, в Волге, и вода в облаках, газы в воздухе и в её лёгких, вообще весь её «организм» – всё это цельно, в том числе и в своём продолжении – вод, прошедших через неё, – в стаканчике на крышке сливного бачка, которые потом будут выплеснуты в унитаз и по трубам вернутся туда, в Волгу, с какой-то добавочной частицей атропина, по сути, с плотью плода микроскопических размеров (если, конечно, и в ней, Варя, как в частице космоса, произойдёт таинство зачатия)...

Новая жизнь родится в шорохе атомов...

Или же всё останется по-прежнему в этом мире...

Полоска не окрасилась.

Варя прополоскала стаканчик, положила в сумочку.

Посидела на закрытом унитазе, выкурив жадно до половины крепкую «камелину», затем решительно снялась с места и, войдя в банкетный зал, залпом выпила бокал вина.

– Вар-Вар, а как же тост? – изумился папа – Вячеслав Ильич.
Варя налила ещё вина, подняла бокал и срывающимся голосом произнесла:
– За дружбу!

Пречистое – Грязовец

1

Напоследок перед посадкой все выстроились в ряд, с задранными головами лицом к вывеске – названием ресторана. Полуметровые буквы цвета воронёной стали напоминали шрифт заголовка газеты «Коммерсантъ», что было сделано, видимо, умышленно с одинаковым использованием «ера». Или «ятя»? Доказывали друг другу, какая из них «ер», какая «ятя» до тех пор, пока Вячеслав Ильич, вполне насладившись энтузиазмом спорщиков, не растолковал.



– Ять был знаком отличия грамотных от неграмотных, господа! – сказал Вячеслав Ильич намеренно, как полагал, весьма к месту привнося в свою речь изыск девятнадцатого века. – Ять означал звук «йе» под ударением. Даже есть мнемонические стихи на этот счёт. Вот, пожалуйста. – И, приняв позу стихотворца на эстраде, продекламировал:

Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ
Убѣжалъ голодный въ лѣсъ.

Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,
Рѣдкой съ хрѣномъ пообѣдалъ...

С приличествующей долей насмешливости Нарышкин заметил:

– Реституцию вашу любимую и в грамматику желаете внедрить, господин профессор?

– Чудьйе-е-е-(ѣ)сно, Андрей Васильевич! – описав в воздухе букву ять, воскликнул Вячеслав Ильич. – Bravo! Тотчас виден филолог! Признаюсь, очень бы желал возвращения в русский алфавит столь изящной буквы!

В это время за их спинами раздался скромный женский голосок:

– Здравствуйте. Простите пожалуйста, вы в Окатово едете?

Первым среагировал на сигнал Нарышкин, всегда настроенный на волну зажигающих проявлений противоположного пола. Он обернулся и увидел молодую женщину с мальчиком за ручку.

В продолжение старосветской игривости в только что происходившей беседе он ответил:

– В Окатово. Непременно в Окатово, сударыня. Как изволите величать?

– Меня зовут Кристина. – Она говорила странно тихо, не кротко, а скорее тихо – вызывающе. – Я-массажистка для главного режиссёра. Я должна с вами поехать.

– Мы в теме, уважаемая. Тайским массажем владеете?

– Немного и тайским. Но в основном традиционным с элементами квантового прикосновения.

«Какая умненькая!» – подумал Нарышкин, после чего и вся она открылась перед ним, прояснилась, будто из тумана вышла, образовала в этом тумане некие формы, называющиеся человеческим телом, но по сути являющиеся чем-то большим и не материальным, что можно назвать прелестью. И Бог знает в чём она, эта прелесть, состояла – в крепеньких ли загорелых плечах под ляпочками платья невесомого, спадающего до узких щиколоток свободно, отчего скрытое под ним обретало некое восхитительное совершенство вопреки расхожему мнению о массажистках, как о женщинах мощных, чернорабочих; в тонком ли твёрдом породистом носе на бледноватом диетическом лице; в жилистых ли, с выступающими венами, профессиональных запястьях; а может, в этом мальчике рядом с ней лет пяти, одетом в льняной простенький костюмчик и сандалики на босу ногу, светловолосом не в мать (с гривой каштановых волос)...

Невозможно было объяснить природу силы, влекшей к ней Нарышкина, которому хотелось сейчас нахально пройти по её боку своей ладонью, проверить, насколько воображаемое под сарафанчиком сойдётся с сущим...

– Можно я вас буду называть просто Тина?

– Можно.

И даже в этом «можно», в самой окраске этого слова голосом новой попутчицы услышались Нарышкину эротические призвуки.

Он ещё смог удержать себя, чтобы не кинуться вслед за ней к дверям микроавтобуса для поддержки, но уже Вита Анатольевна, чуя измену, оттолкнула его, отказываясь от его традиционной помощи у высокого порога «Малевича». Руку ей подавала Гела Карловна, отлично понимавшая причину резкого изменения психической конструкции разудалой компании.

А Варя хотя и жутко взревновала, но компенсировала боль животной радостью от того, что успела у двери авто подхватить за бока мальчика и подать его матери (Кристине) едва ли не со слезами восхищения на глазах.

Варя в минуту успела обольстить маленького пассажира клоунскими ужимками, потряхиванием – боданием дредами, и самое главное – планшетником, так что мать, недолго думая, позволила Варе взять мальчика себе на колени.

Варя млела.

Ребёнок под грудью ступком солнечной энергии пронизывал её насквозь, согревал изнутри, до краёв наполнял жаром материнства, и она всем своим существом понимала сейчас похитительниц детей, природу их безрассудства; ясно становилось, каким сокрушительным может быть действие гормона ХГЧ.

«Так бы взяла и убежала, – думала она, и когда поглядывала на массажистку, глаза её враждебно сверкали. – Зачем он ей? Видно, что совсем не любит. Так быстро мне отдала. Наверняка это ей привычно. Разведёнка, одиночка, вечно не с кем оставить. К тёткам, к бабкам сунет, а сама – личную жизнь устраивать. Ютится в какой-нибудь коммуналке. Бедный мальчик...»

И Варя опять принималась внюхиваться в детскую макушку, незаметно целовала, тискала, в то время как он играл в «Расставь картинки» – в зависимости от звука выбирал изображение: услышал лай собаки – кликнул по барбосу, услышал жужжание – перетащил мышкой пчёлку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.